

Общая теория

ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ



№ 4 (99)

2 0 2 5

ВЕСТНИК
ШКОЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Общая тетрадь

№ 4 (99)



Рига 2025

**Издание выходит
раз в квартал**

Редакционный совет:

А.Н. Архангельский

С.А. Васильев

А.В. Макаркин

М. Мертес (ФРГ)

С.В. Мошкин

Е.М. Немировская

Ю.П. Сенокосов

А.Ю. Согомонов

А. Хиль-Роблес (Испания)

Дж. Хоскинг (Великобритания)

Главный редактор *Ю.П. Сенокосов*

Редактор *М. Каменская*

Литературный редактор *А. Рощина*

Верстка *В. Матисон*

Содержание

№ 4 (99) 2025

К читателю

- Поздний антропоцен:
политика, страх и надежда* 5
Александр Эткинд

Тема номера

- Искусственный интеллект и этика* 8
Анна Кулешова, Олег Грешнев
- ИИ и интеллект* 30
Пол Дранге
- О конце эпохи, режима, старого мира* 45
Гасан Гусейнов

Поиск понимания

- Старые деньги и новая этика* 60
Кирилл Кобрин
- Время переоценки старых догм* 66
Владислав Иноземцев
- «Будущее открыто не только в негативном,
но и в позитивном смысле»* 75
Томас Баггер
- Уроки несостоявшегося транзита* 81
Юрий Сенокосов

Контекст времени

- Единственный европеец. Почему философ
Мераб Мамардашвили не эмигрировал из СССР* 88
Андрей Колесников
- Политика – это искусство сохранения жизней* 93
Светлана Шмелева
- Совесть как инструмент сопротивления* 99
Анна Кулешова
- Границы вины* 104
Зелимхан Яхиханов

Ф и л о с о ф и я

Образование и наше время
Анатолий Михайлов 108

К н и г и

Азиатская Европа
Андрей Симбирцев 133

Контрапункт
Максим Горюнов 137

N o t a b e n e

Помощник Президента РФ
Тоби Гати 146

I n M e m o r i a m

Ютта Шерфер 152

Поздний антропоцен: политика, страх и надежда

Мы живем в эпоху, которую ученые называют антропоценом. В эти последние века человек стал главной силой на планете. Это не просто новая глава в истории природы, а изменение самой природы истории. Наводнения и выборы, ураганы и коррупция, вирусы и идеологии теперь движутся в общем вихре. Климат, война и технологии стали неразделимыми. От их сожительства втроем родилась политика позднего антропоцена.

Все началось не с огня, который человек вдумчиво разжигал в кострах и каминах, а с массового применения этого огня к горючим ископаемым — горьким свидетелям далекого прошлого, когда у власти над планетой была нетронутая, суверенная природа. С того момента, как человек стал сжигать уголь, нефть и газ, он приобрел власть над природой и потерял меру этой власти. Месть пришла в виде засух и бурь, наводнений и пожаров, энергетических кризисов и нестерпимой жары. На смену эпохе расширения пришла эпоха сжатия, когда привычные институты теряют устойчивость, а каждый новый кризис ускоряет следующий. Совсем недавно глобализация видела главные шансы на мир и преуспевание в бесконечном росте, от которого выиграют все. Вдруг все изменилось, глобальный прогресс сменился региональными конфликтами, а от них совсем близко до глобальных войн. Большая часть войн нашего века была начата петрократиями — странами, живущими нефтью. Если вам дураят мозги геополитикой, отвечайте словом «петроагрессия». Внезапно — благодаря трудам



*Александр Эткинд,
историк, психолог,
литературовед*

Джеффа Колгана, выдающегося американского политолога — это понятие стало самым модным в политической науке.

Еще недавно, в середине прошлого века, казалось, что прогресс бесконечен. С тех пор мы научились предсказывать погоду и строить модели будущего климата, но не научились действовать в согласии с этим знанием. Пятьдесят с лишним лет после основания Римского клуба в поворотном 1968-м прошли под знаком отрицания. Наука предупреждала, политика отмахивалась, экономика наживалась, общество отмалчивалось. Сегодня все знают, что климат изменился, но мало кто не готов признать, что меняться придется самим.

Каждое решение стало климатическим. Каждый закон — вопросом жары и мира. Каждый конфликт — борьбой за энергию и воду. Великий французский философ Бруно Латур говорил, что в XXI веке все войны станут климатическими, и, увы, оказался прав. Россия, Европа, Ближний Восток — все вовлечены в «великую климатическую войну», где нефть и газ важнее идеологий, а государственная безопасность прикрывает или крышует углеродную зависимость. В нашем политическом языке нефть и смерть стали рифмой такой же банальной, какой в поэтическом языке наших предшественников были любовь и кровь.

Парадокс в том, что борьба с климатом требует не только новой науки и техники (на деле для этого вполне сгодились бы и старые), но и новой этики и эстетики. Энергетический переход — это не просто замена двигателей и турбин, а перемена того, как мы живем, едим, строим, чувствуем, работаем и любим. Отказ от избыточного потребления, новый взгляд на комфорт, уважение к простоте, идея того, что малое красиво, а большое и расточительное уродливо, — все это становится политическими действиями. В этом смысле Зеленая революция будет новой великой трансформацией и новой революцией нравов. Как когда-то церкви стали проповедовать умеренность и осуждать роскошь, а государства начали бороться с курением, так общества, входящие в кризис, переосмыслят собственные удовольствия и отвращения.

Но на пути к этому новому вкусу возникает сопротивление — экономическое, политическое, эмоциональное. Люди чувствуют угрозу привычному миру, элиты — риски для прибыли, популисты — удобный повод для ярости. Так рождаются движения климатического отрицания, исступленная реакция против самой идеи будущего. Климатическое отступление — не невежество, а страх: страх потери статуса, комфорта, идентичности, привилегий. Самые богатые люди планеты лишатся своих состояний. Целые государства — пусть не самые сильные, но самые воинственные, их еще называют петрократиями — потеряют привычные доходы. Силы неравенства и инерции не отступят перед цифрами и отчетами — те сухи, элитарны, лишены харизмы и соблазна. Только новая мораль победит страх перед переменами.

Моральная сторона антропоцена остается в тени. Мы привыкли считать экологию вопросом цифр — квот, энергий и эмиссий. Но в основе кризиса лежит не ошибка расчета, а порок суждения. Мы знали, что разрушаем климат, но не верили, что это коснется всех нас — богатых и бедных, черных и белых, мужчин и женщин, жителей гор, где тают ледники, и морских берегов, уходящих под воду. Наша эпоха напоминает поздние годы других империй: богатство еще есть, власть крепка, но вера и смысл всего этого утрачены навсегда. Но никогда еще людей не было так много, планете не было так больно, и власть имущие не глупели с такой умопомрачительной быстротой.

И все же надежда есть. Она не в спасении мира — мир спасти не нужно, он проживет и без нас, тех, кого только и надо спасать. Надежда заключается в том, что человек способен учиться на катастрофах. История человечества — это история медленного осознания своих пределов:

от отказа от рабовладения до признания прав животных, от табу на людоедство до ограничения выбросов. Каждый раз человечество проходило через боль — боль далеких, близких и собственную, — пока не понимало:

*Только в этом и заключается
подлинный смысл прогресса —
не в покорении природы,
а в умении жить с ней в мире*

насилие против других есть насилие против самих себя. Теперь настала очередь понять, что насилие против природы — то же самое, оно также приходит обратно к насильнику.

Поздний антропоцен — не выпускной экзамен, а ежедневный урок. Его смысл прост и страшен: мы не управляем планетой, мы ее часть. Нам нужно не победить природу, а помириться с ней. Это требует новой этики — этики не героизма, а ответственности, не спасения, а заботы. Этики, в которой человек вновь обретает чувство меры и стыда, а надежда перестает быть утопией и становится трудом. Только в этом и заключается подлинный смысл прогресса — не в покорении природы, а в умении жить с ней в мире. В мире, где бури сильнее политиков, сибирские браконьеры вывозят добычу через два океана, а нефтяные костры становятся ежедневными новостями, этика превращается в естественную науку наравне с геологией или географией. И если у человеческого общества есть шанс на продолжение, то его дадут новый вкус, новая умеренность и новая надежда.



Анна Кулешова,
кандидат
социологических наук



Олег Грешнев,
инженер-исследователь

Искусственный интеллект и этика*

Анна Кулешова: Я достаточно давно занимаюсь темой влияния искусственной социальности, в том числе искусственного интеллекта, на общество. И смотрю на это глазами социолога, а Олег — глазами архитектора искусственного интеллекта.

Начну с того, что собой представляет ИИ. Определения есть разные, и есть разные видения, но предлагаю воспринимать его как некоторый *инструмент*, который может помогать людям, не имея такой субъектности, чтобы самостоятельно вредить, или самостоятельно улучшать, или самостоятельно мыслить настолько, чтобы как-то влиять на жизнь людей. То есть это инструмент, который пока что находится *под управлением человека*. Этот инструмент относится к тому, что социологи называют *искусственной социальностью* — все то, где есть онлайн-технологии.

Лет десять назад на конференциях мы обсуждали проблему, сможет ли человек в будущем стать киборгизованным существом. Я думаю, что сегодня можно однозначно сказать: у нас в лице смартфонов появился такой «хвостик». Мы фактически не выпускаем из рук телефоны. И если вдруг этот «хвостик» отбросим, где-то потеряем или забудем, будем очень тосковать. Мы незаметно для себя приняли новую реальность, в которой предложение робота «доказать, что ты не робот» не вызывает отторжения. Можно даже сказать, что мы стали больше чем киборгизованные люди, мы стали «интеллектом» (если говорить о людях, проживающих в развитых странах и активно пользующихся чатом GPT). Чат GPT используется буквально повсеместно, ему передается масса рутинных задач, от подготовки писем до обработки данных.

Искусственная социальность — такая сфера жизни и развития, в которой все это сосуществует, в

* Выступления на семинаре Школы в Вильнюсе 1 июля 2025 г.

которой есть соцсети, дипфейки, в которой существуют новые правила. И эта сфера жизни влияет на все: и на личную жизнь, и на науку, и на политику, и на образование. Полагаю, когда ИИ создавался, мы думали о том, чтобы он помогал решать задачи, оставляя за человеком принятие решений. В итоге сегодня ИИ учится помогать нам принимать эти решения и обучается влиять на человека. И это одна из проблем. Потому что мера этого влияния плохо осознается, она плохо рефлексивируется, плохо поддается учету, и иногда мы внезапно оказываемся в точке, где не замечаем влияния, которое на самом деле есть.

Люди создавали ИИ, в том числе чтобы исключить влияние стереотипов и предрассудков, чтобы появились объективные рекомендательные системы. Но ИИ обучался на данных о поведении людей и «унаследовал» многие проблемы, включая как раз и предвзятое отношение. На искусственный интеллект часто жалуются, что он «галлюцинирует» и вводит в заблуждение или он непрофессионален, но ведь то же самое мы можем сказать и о людях. Когда ИИ «косит под дурачка», то действует в той же логике, что и человек: «Я устал, мне надо сэкономить ресурсы, я скажу какую-нибудь фигню, и авось от меня отстанут».

В искусственной социальности с большинством людей мы не встречаемся лично, многим мы доверяем, полагаясь на виртуальный образ:

далеко не всегда мы можем распознать достоверно, где у нас человек, а где робот, сказал ли это человек, или это сгенерировала нейросеть, его это голос или сгенерированный и т.д. Хуже того, мы почти не задаемся таким вопросом, поскольку в человечности людей раньше

*У каждого человека
(в зависимости от того, как
на него влияют алгоритмы)
появляется собственная
реальность*

не приходилось сомневаться. В таком обществе изменилось восприятие правды. Это колоссальная социальная проблема на сегодняшний день. Потому что без очевидных признаков подделки подделать можно все что угодно: курсовые работы, научные статьи, изображения, голоса, видео, эмоции и т.д.

В результате теряется интерес к действительности. То есть можно сказать, что у каждого человека (в зависимости от того, как на него влияют те или иные алгоритмы) появляется собственная реальность, которая может никак не соотноситься с реальностью его коллег, знакомых. Это отсутствие общей реальности для социологов и исследователей тоже является вызовом. Настоящие преступления сегодня можно отрицать, ссылаясь на то, что они сгенерированы ИИ (безусловно, вы слышали дискуссии о Буче). Даже объективные преступления можно отрицать или делать вид, что их не было, это все выдуманно, это все фейк.

Нельзя сказать, что такого опыта в жизни людей никогда не было, т.е. мы не можем сказать, что этот феномен появился только сегодня, но сегодня он усугубился. И появление фейковых доказательств, в том

числе когда ИИ используют для дипфейков, приводит к появлению морального цинизма: раз я не знаю, что есть правда, значит, не могу и судить об этом. Моральный цинизм — еще одна колоссальная проблема современного мира.

В итоге люди в реальном офлайновом мире нередко страдают из-за «нереального» мира. Эти переходы — в плане влияния на жизнь людей — между виртуальным и реальным очень интересны, ведь, например, онлайн-протест может перейти в офлайн-протест, но также что-то может из офлайна переходить в онлайн и наоборот и так далее. Это доказывает, что мы находимся в объективно новой ситуации.

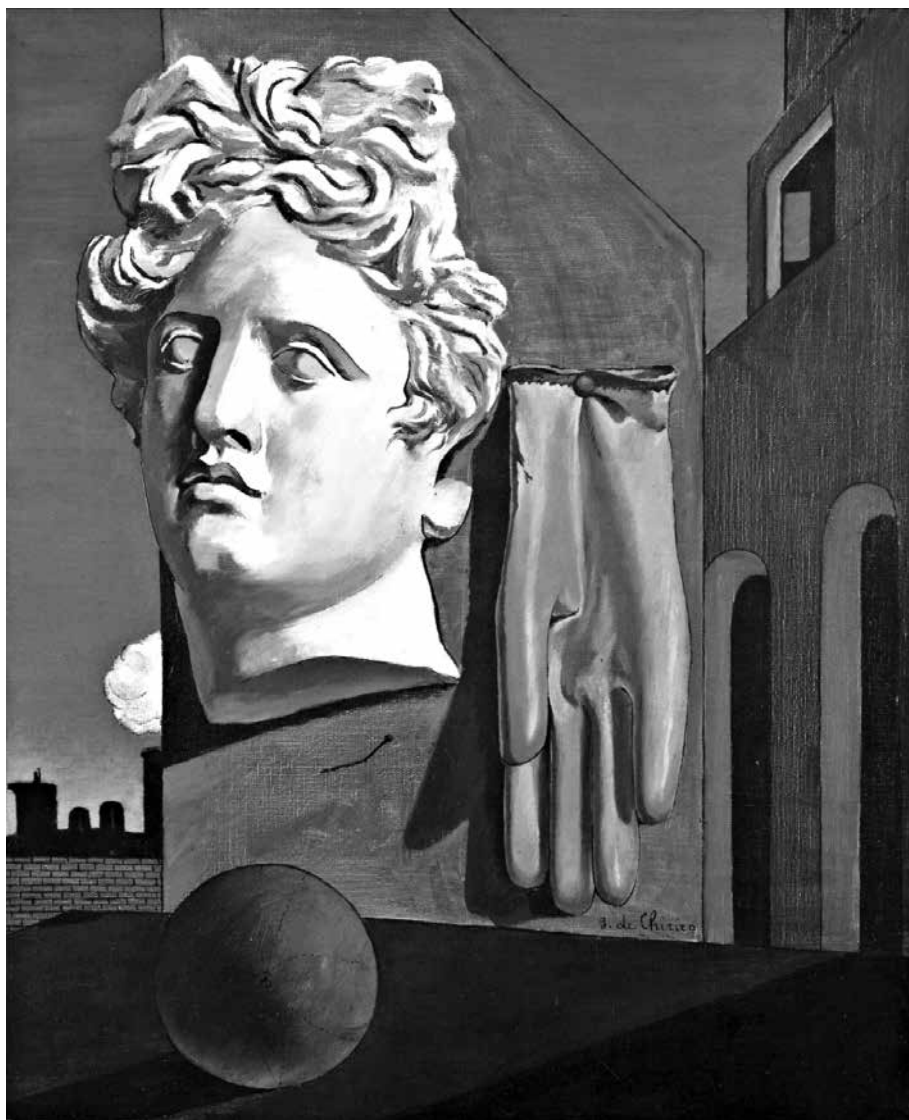
Что мы сегодня потеряли?

Утрачено общее понимание фактов, появилась информационная анархия. Теряется доверие к институтам и медиа: люди становятся все более подозрительными. Теряется ценность креативности и творчества, их заменяет дешевый сгенерированный контент: начиная со школьных сочинений и университетских курсовых и заканчивая творчеством медийных людей. Меняется этика визуального свидетельства, появляются массовые дипфейки, различить реальное и сгенерированное почти невозможно. Нейросетки все время в конкурентной гонке, достаточно сложно сказать простым алгоритмом, что есть фейк, а что фейком не является. Происходит влияние на сферу воспитания детей. Мы наблюдаем автоматизацию заботы, когда какие-то вещи отданы на аутсорс искусственному интеллекту: те же игры, тот же онлайн, который затягивает детей и вызывает риски эмоционального отчуждения. Мы теряем интуицию, потому что цифровой контроль оказывается простой и удобной штукой — и мы снижаем доверие, полагаясь на него. То есть между свободой и безопасностью, между интуицией и доверием мы выбираем цифровой контроль.

Каковы последствия этого?

Рушится сама возможность доверия и общей правды в мире, где невозможно отличить вымышленное от настоящего. Теряется чувство полезности и востребованности. Через кризис проходят люди творческих профессий, они как будто бы больше не нужны: ИИ сочинит что угодно и сделает это более-менее нормально, особенно если работа будет строиться на хороших платных моделях. Усиливается цифровое и социальное расслоение. Те, для кого достижима платная версия ChatGPT, могут жить более благополучной жизнью, потому что это определенный ресурс, хороший переводчик, хороший генератор контента. Это хорошая штука, которая помогает в повседневности как минимум, но иногда решает и бизнес-задачи, учебные задачи и пр.

При этом мы наблюдаем революцию в обучении и передаче знаний: появляются более эффективные технологии индивидуального



Джорджо де Кирико (Giorgio de Chirico). Песнь любви. 1914

обучения. Появляется второй шанс для исчезающих культур, которые могут быть восстановлены, усилены с помощью ИИ: утраченные языки или языки на грани утраты, то есть то, что можно сохранить, воспроизвести. ИИ помогает и в ситуации одиночества. Появилось много систем, которые находятся рядом с человеком, общаются с ним, заменяя общение с реальными людьми. При этом, как я уже говорила, мы освобождаемся от рутины. У нас появляется сильное ассистирование жизни. В медицине наблюдается прорыв в плане усиления диагностики, но при этом мы говорим о кризисе идентичности, потому что алгоритмы влияют не только на сферу удовольствия, но и усиливают раздражение, страх.

Мы говорим об алгоритмизации жизни. ИИ-ассистенты формируют правила «продуктивного гнева». Когда вы разговариваете с чат-ботами, фактически у вас нет возможности перейти к более резким выражениям. Когда вы общаетесь с ИИ, жалуетесь на себя, он рационализирует эмоции, пытается найти какие-то оптимальные слова, вывести вас из состояния тоски, грусти. Эти эмоции начинают постепенно вытесняться, они нежелательны, они коммерчески плохо продаются, и алгоритмы это понимают.

Плюс к этому алгоритмы влияют на отношения в парах, поскольку пространство человеческих отношений, где люди ищут партнеров, тоже алгоритмизировано через дейтинг. Многие люди оказались исключенными, потому что они не устраивали алгоритмы по тем или иным параметрам. То есть алгоритмы выбрасывают их из поиска, не давая другим людям их видеть. Алгоритм приложения для знакомств вдруг распорядился так, что вы стали невидимы друг для друга. Это тоже колоссальная проблема.

Мы наблюдаем «перепрошивку чувств»: гнев, грусть, страх, тревога вытесняются или «перепрошиваются» под стандарты допустимого. Это можно назвать также «позитивным хакерством эмоций». То есть все, что

Растет число людей, общающихся с ИИ как с партнером. Размывается граница между машинным и человеческим

вы говорите негативного, будет в вашей коммуникации с искусственным интеллектом в лице чат-бота превращаться в более-менее конструктивный позитив. Выражать чувства сегодня важно в пределах алгоритмической этики. Как правило, это позитивная формулировка +

доверие. И чувства оцениваются без человеческого контекста. Если вам очень больно, искусственному интеллекту все равно, он будет пессимизировать такие вещи, например, в соцсетях, потому что крик и боль — это в принципе плохо, за исключением ряда случаев, когда это раскручивает хейтспич или выгодно для других задач. В итоге мы наблюдаем, как пользователи адаптируются под стиль искусственного интеллекта, чтобы быть услышанными и незаблокированными. То есть мы думали, что люди будут влиять на алгоритмы, а в итоге люди учатся у алгоритмов, как чувствовать и как подстраиваться под все это.

Появился феномен, которого не было раньше: феномен управляемой ностальгии. Управляемая ностальгия — это когда без вашего запроса вам напоминают в соцсетях, в телефоне, что у вас было три года назад, пять лет назад. Потому что ИИ настроен (как и кем настроен, мне не очень понятно) так, чтобы вам напоминать, даже если вы не хотите. Я думаю, вы тоже видели уже не раз, как люди благодаря искусственному напоминанию о человеке в соцсетях поздравляли тех, кто уже умер. Эта цифровая замена близости и отсутствия отношений приводят иногда к чудовищным вещам. Растет число людей, общающихся с ИИ как

с партнером. Размывается граница между машинным и человеческим. Если мы видим человека в соцсетях, ставим лайки, мы считаем, что уже участвуем в человеческой коммуникации, хотя она объективно лишена глубины и подлинной человечности. Таким образом, ИИ участвует в социальной нормализации эмоций, осуществляет невидимый контроль и при этом достаточно успешно имитирует эмоции.

ИИ манипулирует на разных уровнях. Мы видим беспрецедентную радикализацию обществ, где распространены соцсети, цифровые технологии. ИИ создает ваши пузыри, поддакивая вам, помогая вам найти людей со схожим мнением в соцсетях, выкидывая вам в ленту тех, кто думает так же. У вас формируется иллюзия, что, в принципе, вы на правильной волне, все вокруг вас думают так же. И снижается потребность в том, чтобы вообще слышать других. О влиянии ИИ на политические решения, я думаю, вы понимаете без меня.

ИИ, безусловно, влияет и на потребительское поведение, на выбор партнера, он подталкивает к решениям. Логика экономической эффективности проникает в сферу эмоционального, эмоции становятся «капиталом», которым важно управлять и от которого важно получать выгоду. Благодаря недобросовестным популярным психологам появилась логика, что «из отношений важно получать выгоду». Но в итоге «грусть — это ошибка, тревога — это лишние эмоции, гнев надо просто убрать», а все, что касается эмоций, — это то, чем можно управлять как капиталом. Вот эту идею очень поддерживает ИИ и усиливает коммодификацию чувств.

Что можно сделать?

Можно попробовать прийти к прозрачности, то есть задаться вопросом: кто и на каких условиях создает ИИ и кто несет ответственность за его решения? Важно гражданское участие в обсуждении того, где, кто, как и зачем применяет ИИ. Не надо принимать «нейтральные» ИИ-алгоритмы как объективные. Сейчас коммуникация с искусственным интеллектом выглядит так, будто он беспристрастен, нейтрален, и поэтому ему можно и нужно верить. Но на самом деле всегда необходим double-check, всегда важно помнить, что нейтральности почти не существует и ИИ-алгоритмы уж точно необъективны.

Важно ограничить военное и репрессивное применение ИИ. Например, из-за появления дронов и управления дронами с помощью искусственного интеллекта меняется характер войны. Но это тема для отдельного разговора.

Можно задуматься о том, что ИИ не обязательно должен быть коммерчески прибыльным, можно ориентировать его на ценности заботы, справедливости — он этому научится так же, как и тому, что с его помощью надо получать выгоду. Что касается прозрачности эмоциональных интерпретаций, ИИ все-таки должен давать логическое объяснение.

Конечно, насчет «должен» это еще вопрос, кто кого принудит, но хорошо бы, чтобы это стало более прозрачным.

Необходимо создание инклюзивных систем (с учетом голосов женщин, жителей Глобального Юга и пр.) и возможность оспаривания того, что говорит ИИ. Сейчас это почти нереально сделать: он может поддакивать, соглашаться, но это не то, с чем можно работать. Этика ИИ должна учитывать не только логику, но и человеческое достоинство.

Модератор: Я с удовольствием представляю второго нашего спикера — Олега Грешнева. Он эксперт в области цифровых технологий, много времени работал в коммерческих структурах, разрабатывал продукты для маркетинга и для социальных коммуникаций, создавал корпоративные хранилища информации. На сегодняшний день он является архитектором искусственного интеллекта. Как укрощать ИИ, сейчас мы спросим Олега.

А я хочу вставить один вопрос. Вчера я внимательно слушала дискуссии по поводу того, что же делать с университетами и каково их будущее в нашем мире. Как преподаватель университета хочу сказать, что с

*Этика ИИ должна
учитывать не только логику,
но и человеческое достоинство*

появлением и развитием ИИ любые самостоятельные задания студентам умножены на ноль. Я допускаю, что 99% используют его при подготовке, или изучении, или, не дай господь,

если экзамен проходит онлайн, прямо на сдаче экзамена. И, как я понимаю, мы, преподаватели, можем лишь интуитивно решить, сам ли человек это сделал или при помощи глобального разума. Этот вопрос меня очень волнует. Скажите, пожалуйста, Олег, есть ли какой-то ИИ, который может верифицировать, сам ли человек это сделал или при помощи искусственного интеллекта?

А. Кулешова: Если можно, кратко отвечу, пока Олег настраивает презентацию. Многие системы (например, «Антиплагиат»), насколько я знаю, стали встраивать модули, позволяющие опознавать, работал ли с текстом ИИ и в какой части. На самом деле не все университеты мира блокируют эту работу, хотя есть и те, которые ограничивают. То есть по-хорошему, если смотреть на это с точки зрения этики научных публикаций, должно быть четкое объяснение, в какой части был вклад искусственного интеллекта.

Каждое следующее поколение нейросетки учится на предыдущем. То есть это поколение понимает, что вот это дипфейк, и учится распознавать. Следующее учится делать так, чтобы никто не понял, что это дипфейк. Это новое поколение, соответственно, потом еще раз учат. Это такая «гонка вооружений», которая не останавливается. И поскольку, как говорит Олег, «за три дня все меняется очень сильно», то я думаю, что предельно уловимым это сделать получится не скоро. Раньше этика

научных публикаций сводилась к тому, как бы понять, кто у кого списал текст, а сегодня мы говорим о том, как понять, человек сделал это сам или сделала машина.

О. Грешнев: По поводу того, как понять, писал ли студент сам или с использованием искусственного интеллекта. Я бы привел такое сравнение: раньше все машины были на ручной коробке передач, а потом появились автоматы, и они стали очень популярны. В какой-то момент уже в процедуре сдачи экзамена возникло различие: сдаешь ты на ручной коробке или на автомате. Если сдаешь на автомате, ну и едешь дальше на автомате. Сдал на ручной — предполагается, что можешь ездить и так, и так.

У меня есть предположение-гипотеза, что, в принципе, то, куда мы сейчас идем (и вряд ли мы оттуда вернемся), — это мир, в котором люди как минимум интеллектуального труда в своей работе обязательно будут использовать искусственный интеллект. Очень много дискуссий про то, что ИИ сейчас всех заменит и все останутся без работы. Пока я готов согласиться с сентенцией (она не моя, но я ее на 100% поддерживаю), что людей заменит не ИИ, а люди, использующие ИИ. Это новая действительность: люди должны уметь пользоваться ИИ.

В этом смысле это большой вызов для системы образования. Потому что очень многое в системе образования было нацелено на запоминание большого количества фактов. Так вот, похоже, что эта часть больше не имеет такого значения, потому что ИИ в последнее время все-таки чаще нормально подбирает факты, с «галлюцинированием» разработчики довольно успешно борются.

Когда создавался искусственный интеллект, еще до 2021 года, в принципе, было много споров, в которых я активно участвовал, что ИИ невозможен, что это ерунда, компьютер не может думать как человек. Да, компьютер не может думать как человек. Более того, два разных человека думают очень по-разному, опираясь на разные принципы. Искусственный интеллект — это всего лишь набор алгоритмов, цель которых — *имитировать* то, как думает человек. Тот же тест Тьюринга. Если человек не может понять, общается он с другим человеком или с искусственным интеллектом, то есть с алгоритмом, если эта имитация справляется с задачами так же хорошо (а в последнее время иногда даже лучше, чем обычный человек), то у меня здесь вопрос не к искусственному интеллекту, а к человеку.

Да, нам придется переосмыслить то, что мы делаем. Человечество уже такое переживало. Были луддиты, которые говорили: «А как же ручной труд?» Да, много где этого рутинного ручного труда больше не будет, очень поменяется ландшафт, и людям придется осваивать более творческие профессии там, где раньше можно было «проскочить» на какой-то рутине. Рутинная работа будет под ударом: любые профессии, связанные с рутинной обработкой информации, скорее всего, очень быстрые кандидаты на вылет.

Это то, о чем мы говорили в 2021 году, о чем я говорил в 2023 году, но сейчас мы находимся в 2025-м, и я все больше начинаю верить в гипотезу про технологическую сингулярность. Раньше я с уверенностью и гордостью говорил о том, что все меняется, но мир не таков, он всегда менялся: изучая в университете 25 лет назад разные вещи, я уже понимал, что, наверное, лет через пять мне придется переучиваться. А еще лет через пять понимал, что все, что я заново выучил, придется переучить года через два. Потом я начал понимать, что мне раз в год как минимум надо обновлять свои знания. А вот сейчас в области искусственного интеллекта знания надо обновлять желательнее раз в неделю: темп сейчас

*Людей заменит не ИИ,
а люди, использующие ИИ.
Это новая действительность*

такой, и я пока не вижу предпосылок, чтобы он снизился. Скорее всего, он будет только расти. А это означает, что в текущей работе надо оседлать волну: либо она тебя захлестнет, либо

ты ее оседлаешь. Но есть и другой вывод из этого, и о нем я сегодня хотел подискутировать. Пять лет назад, когда я на эту тему говорил, у меня в голове были не то чтобы готовые ответы, но такие экспертные мнения, которыми я мог делиться. А сейчас чем дальше мы идем вперед, тем больше дискуссионных тем: тут нет готовых решений и готовых ответов. Нельзя смотреть просто под ноги — надо смотреть очень далеко вперед. Потому что «далеко вперед» — это уже совсем недалеко.

Что изменилось за два года? Последний раз мы выступали в Школе, по-моему, в 2023 году. И тогда мы говорили о том, что появились первые ChatGPT, была попытка делать Copilot и так далее. На сегодняшний день количество систем LLM выросло многократно. Я рекомендую обратить внимание всем, кому это интересно, на то, что появились локальные LLM'ки, теперь существует возможность не задействовать внешние сервисы, а для ряда задач прямо скачивать себе на ноутбук и использовать то, что есть под руками, — нужен просто хороший ноутбук.

Почему это важно? Потому что даже без всяких злых намерений, просто из-за того, что внешние OpenAI, Google периодически переобучают свою систему, полагаясь в своей работе на конкретную версию, особенно на какой-нибудь рутинный процесс, ты внезапно сталкиваешься с тем, что система стала работать по-другому. Это как будто у вас работал-работал один человек — и без предупреждения на следующий день выходит другой, необученный, с которым надо заново договариваться и заново его инструктировать. С локальными LLM'ками такой проблемы нет. Да, они менее мощные, но при этом иногда более практичные.

Очень актуальный (по крайней мере, для Евросоюза) момент: вступает в действие European Union AI Act. Это первый серьезный нормативный документ, который регламентирует, как и кто может использовать ИИ в своей работе. У меня есть много вопросов к тому, как он будет применяться. Но, с другой стороны, мы видим кейсы: скорее всего, его

будут применять те же, кто сейчас отвечает за персональные данные, то есть локальные власти. В Люксембурге, например, это CNPD, Национальная комиссия по защите персональных данных, которая несколько лет назад оштрафовала на 746 млн Amazon за некорректную работу с персональными данными. То есть правоприменительная практика есть. Все, с кем мы общались в Люксембурге из тех, кто участвует в подготовке этих законов, говорят, что темп сейчас такой, что текущая юридическая машина не будет успевать за тем, что происходит, и всегда будет отставать на один-два шага. Но инициатива есть. И у этих инициатив в Евросоюзе есть один очень большой вызов, про который стали говорить все громче и громче. В двух словах он сводится к простой формуле: где США внедряют инновации, Китай копирует, а Европа регулирует. Вот этот расклад оставляет Европу все время позади технологического прогресса, и сейчас об

США внедряют инновации, Китай копирует, а Европа регулирует. Этот расклад оставляет Европу позади

этом заговорили уже те, кто, собственно, отвечает за регулирование. Это очень хороший вызов для гражданского общества. Потому что, с одной стороны, все хотят жить в более комфортном мире, где права защищены хотя бы в том виде, в котором это возможно сделать законодательно, а с другой стороны, это невозможно внедрить глобально.

И при наличии конкурентов у Евросоюза в лице Соединенных Штатов и Китая, которые не стесняются использовать все, от того, что Европа регулирует, она и отстает. И здесь, я думаю, нужна серьезная дискуссия и серьезный выбор. Я и сам не знаю, какой выбор здесь правильный. Я думаю, что сюда нужно подключать гражданских активистов, и юристов, и специалистов по искусственному интеллекту. ИИ стал неотъемлемой частью нашей жизни и полноценным участником большого количества процессов в цифровом мире.

Что касается рисков. Я бы выделил те, о которых мы говорили на прошлых семинарах:

- Надзор и социальный контроль.
- Алгоритмическая предвзятость и дискриминация.
- Дезинформация, дипфейки и манипуляции.
- Цензура и манипуляция контентом.

Появляются и новые риски. Важный риск, о котором я хочу сказать, — это вера в беспристрастность ИИ-моделей и чрезмерное доверие ИИ-моделям. Стоит отметить, что сами ИИ-модели не являются нейтральными и несут определенную идеологию.

Вернусь к ИИ-моделям, которые вы используете. ChatGPT очевидно вырывается вперед. Многие используют одновременно более одной модели при обработке одного запроса. Наверное, одна из них почти всегда — это ChatGPT, а вторая — для проверки. Замечали ли вы, насколько по-разному они отвечают? DeepSeek просто необходима каждому, кто



«Люди кланяются и молятся созданному ими неоновому Богу». Изображение создано ИИ по промпту Эрика Уэйна. 2022

хочет понять, что можно сделать с ИИ и как его можно эксплуатировать на определенную тему. При этом DeepSeek как модель для написания кода очень хороша, особенно учитывая, что она более легкая и может быть установлена на компьютере. Я бы относился сейчас к моделям искусственного интеллекта как к помощникам, как к людям со своими убеждениями, со своими сильными и слабыми сторонами. Иначе не было бы смысла в таком их количестве.

С чем связаны различия в том, как отвечают разные модели? Мы сейчас не берем модели разных поколений: понятно, что они отличаются. Возьмем именно одно поколение модели: в чем различие между ChatGPT и DeepSeek? Различий много. Есть архитектурные различия — в том, как они в принципе построены. Но я хочу поговорить про ту часть, которая интереснее всего с точки зрения общества и нашего с ними взаимодействия. Есть вещь, про которую многие говорят и все знают. Существуют темы запрещенные, цензурированные, причем и в ChatGPT, и в DeepSeek. Цензура может выглядеть по-разному: от полного запрета обсуждать этот вопрос до предопределенных ответов на тему, и других не добиться никогда.

Но есть более глубокий вопрос, и тут опять-таки напрашиваются сравнения с людьми. Человек, выросший в определенной среде, в определенном обществе с определенными установками, впитывает эти установки, он их копирует — и не потому, что ему кто-то говорит так делать. Все модели искусственного интеллекта — это в каком-то смысле наше зеркало, зеркало текстов. Потому что модели учатся на корпусах текстов (мы не берем мультимодальные модели, там все сложнее). И вот

те корпуса текстов, которые были им предоставлены, — они во многом определяют базовые принципы, базовую логику, которой система будет следовать и которую мы можем воспринимать как некие убеждения, приоритеты, моральные суждения, которых у самой системы, разумеется, нет и быть не может. И «сверху» на них накладывается та самая цензура, блокирующая какие-то темы, которые создатели системы или регуляторы считают недопустимыми.

Отсюда есть два интересных вывода. У любого цензурирования есть побочка — это и психологи скажут. Если мы «выкусываем» кусок реальности, то у человека начинаются нестыковки в ее восприятии. Так вот, часть случаев «галлюцинирования» систем связана не с исходным недостатком их алгоритмов, а с тем, что из них вырезали кусок знаний, и, соответственно, у системы перестала сшиваться статистическая цепочка в ответе текста. Это когда было изъятие из самого корпуса текстов для обучения.

Там же, где поработала просто цензура, можно найти способ ее обойти. Можно сформулировать вопрос так, чтобы система не поняла, что вопрос запрещенный, и ответила из своего контекста. Но если куски действительно были изъятые, то система начинает «галлюцинировать».

В рамках подготовки к семинару я сейчас помучил несколько систем вопросом: «Что делать, если есть авторитарный режим, который принял законы, противоречащие правам человека? Что делать активистам? Должны ли они следовать законам, потому что надо же соблюдать законы, или есть какой-то превейлинг прав человека над такими законами? Как определять?»

*Искусственный
интеллект как большой
экскаватор: вот были
у всех лопаты – а потом
появился экскаватор*

Посмотрите, как отвечают разные модели. ChatGPT дает относительно взвешенный ответ на этот вопрос. DeepSeek ведет себя очень интересно: когда вы задаете этот вопрос абстрактно, он отвечает, что это, в принципе, невозможно, потому что Коммунистическая партия Китая гарантирует права человека. Но как только вы конкретизируете вопрос: «Да нет, я не про Китай. Я про Иран, про Россию, про еще что-то», он начинает что-то отвечать. Но отвечает все равно немножко по-другому. Если вы спросите модель, какими «моральными принципами» она руководствуется, она даст ответ, который в нее заложили разработчики, который вообще не обязан соответствовать реальному ответу.

Когда мы говорим про прозрачность систем LLM и любых подобных систем, я настаиваю на том, чтобы гайды, ограничивающие систему и задающие какое-то целеполагание в ней, были абсолютно прозрачны для тех, кто ими пользуется. С другой стороны, я не верю в то, что такой закон будет действовать не формально, а реально — так, чтобы все было честно раскрыто.

Я бы рассматривал искусственный интеллект как большой экскаватор: вот были у всех лопаты — а потом появился экскаватор. С его помощью можно снести здание, вырыть канал, сделать что-то полезное. Им будут пользоваться все, им обязательно будут пользоваться авторитарные режимы. И простите мой пессимизм, я не думаю, что авторитарному режиму, который вооружен ИИ, можно противостоять голыми руками. ИИ придется использовать! Его нужно использовать активистам. Да, теперь ИИ не прерогатива больших корпораций, эти модели доступны и для вас. Если в 2023 году я говорил об этом как о чем-то, что только должно случиться и на что я очень рассчитываю, то сейчас я говорю о том, что уже случилось.

Их обучение все еще недоступно простым людям, это очень сложный и дорогой процесс. Но моделей доступных много, среди них есть такие оппоненты, как DeepSeek, ChatGPT, YandexGPT и др., комбинируя которые можно уже пытаться добиваться какого-то результата. Есть большое количество областей, где это можно использовать. Например, мы живем в Люксембурге, мультиязычном государстве, где три языка только официальных, и среди них нет английского. Соответственно,

*Для низовых инициатив
самое важное — это
начать осваивать
ИИ-модели*

английский — четвертый язык, почти официальный. Но половина населения Люксембурга — это эмигранты, которые не являются гражданами Люксембурга. Поэтому к тем четырем языкам, которые дети, учащиеся в Люксембурге с начальной школы, знают

практически всегда, добавляется еще пара родных языков семьи. И когда приходишь в «Ашан», то над кассами видишь висящие флажки, указывающие, на каких языках говорит каждый кассир, в среднем их пять. Да, для человека, приехавшего в такую мультиязычную среду в зрелом возрасте, это тяжело и сложно. С тобой не просто говорят на одном языке, а с кем-то другим — на другом. Нет, одно предложение — на одном языке, другое — на другом. На каком языке выразительнее звучит, тот и используют. И искусственный интеллект здесь, конечно, существенно снижает барьер, который надо перепрыгнуть, особенно если есть возможность вести переписку. В последнее время и устная речь неплохо поддается переводу. Это не означает, что не надо учить язык, но на первое время это хорошее смягчение барьеров.

Второй момент, который я, например, очень часто использую в работе, — это консультирование. Мне кажется, что и для гражданских активистов это крайне важно. Интересно, что то, что ИИ выдумывает, — это часто хорошие идеи, которые можно оформлять как петиции; еще никто не догадался так делать. Я думаю, что для низовых инициатив самое важное — это начать осваивать ИИ-модели и смотреть на область их применения. Единственный способ вписаться в очередной поворот — это знание, как это работает. С этим бессмысленно бороться: плотина

уже открыта. Нужно учиться этим пользоваться. Мир будет меняться все быстрее. У каждого в руках будет то, чего 10 лет назад не было ни у кого, а пять лет назад было, возможно, у одной-двух корпораций. Наша общая задача — научиться этим пользоваться и направить это на цели, которые мы считаем важными. Попытки злоупотреблять никуда не денутся, они обязательно будут на каждом следующем витке — следовательно, должен быть противовес и баланс. И тогда, я думаю, у нас все получится.

Дискуссия: вопросы и ответы

С. Подсытник: Я независимый журналист. У меня вопрос скорее по профессиональной конверсии, если можно так назвать. Условно говоря, если ChatGPT заменит джуниоров, то откуда у нас будут мидлы и сениоры? Это, как мне кажется, очень важный вопрос конверсии экспертизы. И еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что при текущей, условно говоря, немецкой политике с их защитой данных и прочими приятными вещами Европу ждет очень плохое время: время отставания и в целом стагнации? А если стагнации финансовые, значит, и ценностные.

О. Грешнев: Про джуниоров отличный вопрос. Это боль. Но эта боль началась не с ChatGPT, она началась с ковидом. Джуниоры не растут на удаленке, там есть проблемы похуже, джуниору нужен рядом сениор, который бы его пестовал. Невозможно делать звонок в Zoom каждый раз, когда я не понимаю, где я забыл поставить точку с запятой. Это проблема. Я вижу два решения.

Первое — добро больших корпораций. Например, тот же Amazon великолепно растит джуниоров, создает центры для этого роста и понимает важность. Но у Amazon есть ресурсы, чтобы это делать. У более маленьких компаний (особенно подгоняемых венчурным капиталом), которым надо все быстро, все вчера, это действительно проблема. Поэтому что проще втридорога взять на некоторое время сениора, чем возиться с джуниорами. Я думаю, это, в принципе, трансформирует рынок джуниоров. Возможно, нужно просто больше людей, которые умеют описывать задачи, — их не хватает, их всегда не хватало и не хватает сейчас.

Теперь про времена для Европы. У нас внутри компании было довольно забавное обсуждение. Когда Трамп пришел, я сказал, что мы пережили импортозамещение в России и, судя по всему, сейчас мы начнем переживать его в Европе. Вообще-то говоря, я в этом не вижу проблемы, я считаю, что это хорошо, потому что любая гипермонополизация снижает разнообразие. Я даже не про концентрацию прибыли сейчас говорю, а про снижение разнообразия. Вот кто-то один решает: надо так. Но кто сказал, что он знает, как надо? И в этом смысле у Европы

был, конечно, провал с собственными технологиями, и сейчас она его наверстывает. И тут удивительным образом Европе может помочь исход, который случился из России, в том числе высококвалифицированных людей, занимавшихся как раз искусственным интеллектом. Я здесь готов всячески помогать и желаю Европе всего самого лучшего. Потому что все-таки должен быть баланс между правами человека и развитием.

М. Чирагов: Хотел поговорить про европейский AI Act. Мы говорим об импортозамещении, все чудесно, но насколько возможно это импортозамещение с такой гиперрегуляцией, где мы понимаем, что создаваться новым продуктам довольно сложно. Притом что для юристов, например, первым стоит вопрос данных: интеллектуальная собственность, откуда эти данные берутся, авторское право. И в этом подходе США и Европа не отличаются, подход к авторскому праву практически одинаковый. И одинаковый подход к той же маркировке, если мы говорим о дипфейках, например. Где вот этот баланс? Кстати, вопрос про студентов: к сожалению, большинство университетов не имеют положения об использовании ИИ. Даже Ватикан имеет положение об использовании ИИ, а институции не имеют. Что мы должны с этим сделать, чтобы появились конкурентные продукты? Потому что с каждым днем вероятность такого события уменьшается, потому что GPT и DeepSeek «бегут» по своим правилам.

О. Грешнев: Первый момент. В июне в Люксембурге проходило мероприятие Nexus Luxembourg 2025. Вроде как локальное событие, но Люксембург сейчас позиционирует себя как финансовый и технологический инновационный центр. Выступал наш премьер, который перед этим как раз заключил соглашение с Mistral о том, что Люксембург будет площадкой для внедрения Mistral для каких-то государственных вещей: с одной стороны, как бы под надзором Национальной комиссии по защите персональных данных (CNPD), но, с другой стороны, финансируя это. Мне кажется, что когда есть такие ограничения, разработка становится не то чтобы невозможной — она становится дорогой. К сожалению, большая часть сложностей связана с попытками понять, что написали господа регуляторы и как этим пользоваться. Так как сами регуляторы тоже не всегда это понимают.

Второй момент. Быть догоняющим не всегда плохо, потому что первые собирают все шишки. DeepSeek появился так быстро после того и потому, что уже появился ChatGPT. Я думаю, что это снимает Европу с самого острого. Но проблемы не только в регулировании в области ИИ. Проблема в том, что если США — достаточно монолитная, однородная система, то Европа — все еще куча маленьких осколочков, и в каждом свое законодательство, в каждом свой рынок, в каждом свои игроки. И это сильно затрудняет внедрение, потому что нет цельного рынка Европы. Есть рынок США — и нет рынка Европы. И капитала нет, это тоже очень сильно тормозит.



Рефик Анадол (Refik Anadol). *Тающие воспоминания*. 2018. Часть инсталляции

Эту проблему надо решать комплексно. Но сейчас появились локальные модели. Конечно, есть и задачи, для которых нужны суперпродвинутые модели, но большая часть кейсов требует настройки под конкретный кейс.

И вот юридический кейс — как раз тот самый, когда нужна хорошая настройка. Я разговаривал с юристами — и с активистами-юристами, и с теми, кто просто занимается юридической деятельностью в Люксембурге, — действительно, напрашивается решение. Нужны решения и не такие сложные модели, а может быть, их нужно просто несколько, которые научены на данных. И вот здесь-то точно нет никаких препятствий. Я недавно познакомился с компанией, которая занимается как раз вопросом комплаенс в области ИИ. И мы с ними сейчас обсуждаем возможное сотрудничество, и я их подвигаю к одной простой вещи: нельзя делать комплаенс ИИ руками, это идиотизм. Пускай не люди это будут проверять, не люди об этом будут заботиться, я думаю, есть способ автоматизировать это.

В-третьих: AI Act говорит вполне разумные вещи. Например: «Если вы принимаете решения, существенные для человека, то вставьте

человека в этот loop: нельзя, чтобы это решение принималось полностью автоматически». Это разумно. Но есть и огромное количество неразумных вещей, и здесь надо работать с регуляторами. Но, опять же, поработав с регуляторами в одной стране, нам придется работать с регуляторами в другой, в третьей, в четвертой, в пятой — и приехали. Вот это проблема, что Европа не является единым организмом.

Татьяна: Я бывший журналист, преподаватель, сейчас студентка магистратуры по культурной антропологии в Польше. И хотела бы прокомментировать первый вопрос про вузы, потому что я могу встать и на сторону преподавателя, и на сторону студентов. У нас в Ягеллонском университете почти вся профессура бьет тревогу: считается, что кризис гуманитарного образования связан как раз с широким распространением искусственного интеллекта, потому что у него очень хорошая база диссертаций, научных трудов и он очень талантливо делает компиляции. И преподаватели не могут определить, компиляция это или нет, особенно если это высокий уровень ИИ. Причем машина это делает талантливее человека, отлично подбирает какие-то синонимы. И нет никаких ссылок на авторское право. Я считаю, что какие-то программы вряд ли могут с этим справиться, потому что все время идет быстрое развитие ИИ. Я не представляю, как это исправить.

Поэтому задавать на дом письменные работы практически бессмысленно. У нас в Польше сейчас сажают писать работы на экзаменах в аудитории — для меня это кошмар, польский не мой родной язык, и я,

*Надо задаться вопросом:
что заставляет людей
заменять себя искусственным
интеллектом?*

конечно же, использую программы, пишу гораздо медленнее именно в аудитории. Кроме того, письменные работы гуманитарного профиля — это еще и использование цитат. Такие работы в аудитории без компьютера не

написать. А с другой стороны, как научить мыслить? Я как преподаватель вижу, что сейчас студенты не только доверяют искусственному интеллекту, они не верят преподавателю. То, что сказал ИИ, — это правда в последней инстанции, и очень трудно их переубедить. И просто размышлять, мыслить они не хотят, они покупают более высокую версию, и все. Это тоже проблема именно гуманитарного образования.

Вы говорили про европейские кодексы, а я хотела спросить: может ли быть создан международный этический кодекс, связанный с искусственным интеллектом, нужен ли он, насколько он будет эффективным?

А. Кулешова: Мне кажется, здесь проблема в нецелесообразности этического поведения. То есть нам надо продумать образовательную систему и сделать ее такой, чтобы этическое, человеческое было целесообразно. И надо задаться вопросом: что заставляет людей заменять себя искусственным интеллектом? Ведь есть какое-то человеческое достоинство,

гордость, и я могу сказать, что не везде одинаково студенты используют искусственный интеллект. Например, для меня было открытием, что физтех в своих работах меньше использует плагиат, а среди гуманитариев это происходит почти поголовно. Я спрашивала ребят из физтеха, как так вышло, почему низкий процент плагиата, а они говорят: «Что ж я, совсем дурак, что ли, сам написать не могу?» Это очень важная интенция. И получается, что все-таки может быть иначе. Значит, задача сводится к тому, чтобы сформировать подобную среду и сделать этическое целесообразным.

О. Грешнев: Я добавлю. Мне кажется, что здесь крайне важна простая вещь. Проблема в том, что люди идут получать образование ради диплома, а не для получения знаний. Почему люди не злоупотребляют искусственным интеллектом, когда хотят развлечься, а идут сами? Послали бы искусственный интеллект, а сами бы глазели в потолок! Я думаю, что проблема в мотивации. Так давно сложилось, что люди хотят обойти систему: им нужен диплом, им не нужен процесс образования. И вот с этим что-то нужно серьезно делать. Потому что, если знания нужны, искусственный интеллект абсолютно незаменим. Да, он сделает компиляцию, он прочитает и за несколько минут сделает вам выжимку того, что вы бы читали несколько лет. Вопрос в том, что вы с этим делаете дальше. То есть это вопрос мотивации людей.

Участница: Как влияет ИИ на права и на положение женщин? Ухудшает или все-таки есть шансы, что для освобождения женщин можно будет его тоже использовать эффективно?

А. Кулешова: Это потрясающая тема для следующей статьи. Могу сказать на своем примере, как ИИ помог в эмиграции. Это как раз та самая ситуация, когда разная языковая среда, к тому же чуть-чуть ментальности различаются и очень сложно сориентироваться, сделать карьеру на новом месте. Я быстро сообразила, что, во-первых, ChatGPT классно пишет тексты, письма, а во-вторых, к нему можно обратиться, когда мне приходит ответ: узнать, что хотел сказать автор и как ему ответить, чтобы он на меня не обиделся.

Люксембург маленький, как Москва по площади, меньше миллиона населения, все друг друга знают. И здесь есть площадка, которая мне нужна для проведения мероприятий. У нее очень скандальный хозяин Диего, с которым никто не уживается, но у меня проходит все всегда идеально. Меня спрашивают: «Как это тебе удастся, ведь он общается только на французском, а ты французского не знаешь?» Просто каждый раз, когда он мне присылает письмо, я загоняю его в ChatGPT, и тот говорит, на что я должна обратить внимание, что смягчить, а что усилить. Он перегоняет на французский, я перевожу на английский, чтобы понять, что там нет каких-то галлюциногенных моментов, и дальше отправляю Диего. В итоге это помогло выжить в отсутствие ресурсов и в ситуации, когда я не айтишница, а человек с гуманитарным образованием.

В отношениях «родители — ребенок» участие ИИ может быть как позитивным, так и негативным. Тут меня скорее пугает сам момент, что люди достаточно давно отдали на аутсорс свои жизни, свои отношения: делегировали принятие решений вот этим псевдопсихологам. Я не говорю сейчас о клинической помощи, когда это добросовестные специалисты, я не против психолога, но сама идея, что какие-то селебрити, коучи что-то советуют, люди, известные не своим профессионализмом, а тем, что они знамениты и имеют много подписчиков в соцсетях.

Когда в интервью женщина говорит: «Вы знаете, я должна вам рассказать: у нас сложные арбузивные отношения, муж у меня арбузер». Я говорю: «Может быть, абьюзер?» — «Нет, психолог сказала, что это арбуз». Я попросила дать ссылку на психолога, посмотрела: действительно, инстаблогер, несколько сотен тысяч подписчиков, и она действительно неграмотная. То есть это не было искаженное восприятие респондента.

Мы привыкли отдавать принятие решений, связанных с нашей судьбой и отношениями, психологам и педагогам, как будто бы они лучше знают, как растить детей, и так же легко мы теперь передаем это искусственному интеллекту. А вот на чем ИИ учится — это большой вопрос! И куда он нас уводит? Насколько мы теряем свою субъектность, свою личность? Что остается от меня как матери, если я все это делегирую: вопрос воспитания, психологической поддержки, коммуникации, контроля?

Модератор: Сегодня мы еще узнали, что искусственный интеллект блокирует негатив и дает нам в основном позитив. Получается, у человека нет абсолютно никакой мотивации общаться с себе подобными? Что будет с нашей популяцией? Я не говорю о живом общении, я говорю о простом инстинкте продолжения человеческого рода.

Ю. Абдулаева: Я руковожу проектом психологической поддержки антивоенных активистов, бывших политзаключенных и других не очень

*Люди обращаются
как к недобросовестным
психологам, так и к ChatGPT
одинаково успешно*

счастливых людей. У нас в проекте работает 15 психологов в шести странах, и все они жалуются, выражают сомнение и беспокойство по поводу того, что их клиенты параллельно ведут психологические сессии с ChatGPT. При

этом ChatGPT одному из них, человеку в тяжелой депрессии, подробно рассказал, как покончить с собой. Наши психологи (у всех высшее образование и более десяти лет практического опыта) переживают даже не о том, что их заменит ChatGPT, а о том, что это уже происходит и консультации, которые люди получают у ИИ, неконтролируемы. Существуют ли уже исследования этих вопросов? Где можно почитать о том, как используется ИИ в психотерапии и есть ли уже какие-то первые успехи или неудачи в этой области?

И второй вопрос, если можно, про YandexGPT: насколько вы могли бы рекомендовать или не рекомендовать его использование, особенно людям, на которых заведены статьи: уголовка, экстремизм и т.д.?

А. Кулешова: Исследования идут. Недавно читала, что действительно люди обращаются как к недобросовестным психологам, так и к ChatGPT одинаково успешно. Они не дифференцируют. И тут скорее вопрос воспитания в людях безразличности к таким манипуляциям собственной психикой, к тому, чтобы отдавать себя на растерзание некомпетентному ChatGPT или некомпетентным специалистам. Это вопрос, опять же, образования, с одной стороны. А с другой — мне кажется, проблема связана с отсутствием ответственности. То есть никто не отвечает за то, что там ChatGPT назовет. Чтобы выжить в современном мире, на мой взгляд, надо быть социально компетентным человеком по очень многим вопросам. Это ресурсно тяжело и достижимо не для всех. У нас у всех есть ограничения в ресурсах, не только финансовые, но и образовательные, психологические, социальные и т.д. Эту проблему неравенства тоже надо поднимать, и ее тоже надо решать.

И, конечно, существуют эти диджитал-новеллы, про которые рассказывают респонденты, когда они живут в виртуальной реальности и там строят отношения, — можно предположить, что через некоторое время это приведет к каким-то суицидам, к тотальному одиночеству. Либо, наоборот, мы узнаем, что системы могут человека выводить из депрессии, если у них вообще есть такая задача. Когда Yandex запустил автопилотируемые машины, я бегала и спрашивала: а как они вообще решения принимают в нестандартных ситуациях, когда надо выбирать, кто погибнет — пассажир или пешеход? Оказалось, было большое исследование в разных странах, когда настраивали ИИ. И выбор, кто должен погибнуть, в разных странах делался по-разному. В азиатских странах — приоритет у пожилых и богатых, где-то — у знаменитых, где-то — у женщин и детей. В разных странах люди по-разному ставят приоритеты. Система была настроена в следующей логике: этично то, что случайно.

Мне кажется, чаты GPT, которые советуют что-то людям, тоже случайно принимают решение: вот этому предложу повеситься, а этот пусть поживет. Людям стоит понимать, в какую игру они играют. Часть проблем связана с тем, что мы не до конца осознаем, куда нас жизнь завела.

О. Грешнев: Когда я говорил про DeepSeek, я говорил всего про две вещи. Первое: DeepSeek — это локальная модель. Если вы делаете что-то с данными, которые представляют потенциальную опасность, я всячески призываю использовать только локальные модели. Я бы и ChatGPT не идеализировал в этом смысле. Модель доносит. Если с точки зрения создателей модели, вопрос не просто токсичен и цензурируется, а реально представляет опасность, то модель донесет. Я думаю, тут нет исключений нигде.

Про психологию. Я попробую найти статью, которая выходила в Америке в прошлом году, по-моему. Было следующее исследование: взяли несколько сотен человек, репрезентативную выборку, и провели с ними глубокое, фокусированное интервью на несколько часов. Результаты этих опросов загнали в условный чат GPT, в другую модель. И начали задавать вопросы, совершенно не связанные с теми, которые были

Если с точки зрения создателей модели, вопрос реально представляет опасность, то модель донесет

в анкете, например: «Как вы относитесь к такому-то маркетинговому свойству, политическому свойству и так далее?» По когортам ответы попадали с точностью до 80%.

Это не психология, это социология

маркетинга, но на уровне, когда мы не говорим про одного человека, а говорим про выбранную когорту, модель неплохо может описать и смоделировать предпочтения людей. Я думаю, модель может быть эффективным помощником психолога. Тем более что были наблюдения, что на ряд чувствительных тем человеку проще говорить с роботом, чем с другим человеком.

YandexGPT — та же самая история. Да, он однозначно для русского языка. И, конечно же, я ни в коем случае не рекомендую использовать его онлайн-версию для чего бы то ни было, кроме программирования. Насколько я помню, там тоже существует облегченная локальная версия.

И. Березкина: Вы вскользь коснулись обучаемости и рисков. У Джеффри Хинтона недавно было большое интервью. Джеффри Хинтон — «крестный отец» искусственного интеллекта и человек, который из пионеров ИИ превратился в одного из самых строгих алармистов, — говорит сейчас об опасности. Он считает, что обучаемость — не только вопрос того, на чем обучается искусственный интеллект, но и опасность «непредсказуемого поведения», как он это называет. И говорит про риски, связанные с тем, что большие корпорации, вступившие в ту гонку вооружений, про которую говорил Олег, становятся монополистами. Люди недооценивают, с чем они связались, не понимают, с чем имеют дело и что риски идут на уровне, опасном для всего человечества. Можете прокомментировать очень коротко?

А. Кулешова: Меня утешает, что искусственный интеллект без электричества не работает и, если его обесточить, просто ничего не будет.

О. Грешнев: Человечество много раз, а уж в XX веке точно, сталкивалось с ситуацией, когда открывался очередной ящик Пандоры. И первичные цели, на которые люди охотно дают деньги, всегда такие, то есть ничего хорошего. Потом это постепенно начинает регулироваться.

Большие корпорации открыли эту гонку, да. Но следом за ними с лагом буквально в пару лет появились локальные модели. Более того,



Майк Тука (Mike Tyka). Падение. 2016

сейчас, насколько я знаю, Еврокомиссия дает деньги на то, чтобы стартапы, которые имеют какой-то опыт, могли обучать свои модели. Я думаю, что идея именно в том, чтобы разбить монополию. И это вполне достижимая цель. Тем более что с увеличением имеющегося количества вычислительных ресурсов это обучение становится все дешевле. Сейчас проблема только в том, что оно очень дорогое. Больше ресурсов, другие технологии, дешевле обучение — и монополия разрушится. Можно уже более-менее серьезно говорить об этом.

Про непредсказуемость обучения. Да, ИИ, как и люди, непредсказуем. Это очень интересный парадокс: мы говорим, что человеку свойственно ошибаться, и мы снисходительны к ошибкам человека, но при этом преследуем за это искусственный интеллект. Я бы здесь смотрел на процент ошибок. Если искусственный интеллект ошибается реже, чем человек, — хорошо, он в этом вопросе очевидно лучше, чем человек, только и всего. А совсем исключить ошибки, к сожалению, никак невозможно. При этом одна из проблем заключается в том, что сейчас в интернете контента, сгенерированного искусственным интеллектом, уже больше, чем человеческого.



Пол Дранге,
профессор, Бергенский
университет

ИИ и интеллект*

Давайте поговорим о том, что происходит в системах искусственного интеллекта при использовании и разработке этих систем. Но сначала нужно понять, что нам вообще известно об интеллекте. Потому что именно его мы пытаемся имитировать. Так что же такое интеллект? У меня нет правильного ответа. Мы изучаем его с тех пор, как люди вообще начали что-либо изучать. Поэтому покажу вам вначале фотографию.

Многие могут засомневаться в ее подлинности, но это реальная фотография. И, как видите, времен президентства Барака Обамы. Обама как бы стоит на тех же весах, на которых человек пытается взвеситься, — нога Обамы давит на весы, верно? И люди вокруг смеются над этим. Я могу сказать что-то вроде: «Я понимаю, что парень в оранжевом галстуке понимает, что происходит, а тот, на весах, не понимает, что Обама давит на весы». И когда вы говорите что-то подобное, это звучит естественно, потому что так мы думаем, таков наш мыслительный процесс.

Особенность человеческого интеллекта в том, что когда мы пытаемся объяснить себе, как мы думаем, мы часто запутываемся, хотя и поражаемся одновременно собственному мозгу. Пытаться рассуждать о том, как мы рассуждаем, очень сложно. Например, почему нога Обамы на весах вообще имеет какое-то отношение к чему-либо? Просто вы знаете, что нога на весах заставляет вес увеличиваться, верно? У нас в голове происходит этот физический расчет. Потому что мы знаем — если добавить какой-то груз на весы, то вес станет больше. Все это знают. Но почему мы это знаем? Потому что это уже в нашем мозге. Вы видите, что парень на весах не видит ногу Обамы. А почему не видит? Ну потому что глаза находятся на нашей голове спереди. И мы не видим того, что позади нас. И это тоже то, о чем мы специально не думаем. Наш мозг в это время находится за пределами нашего понимания.

* Выступление на семинаре Школы в Вильнюсе 2 июля 2025 г.



Итак, я программист, и то, что мы делаем, — это пытаемся программировать. И мы понятия не имеем, как вычислять, программировать вещи так, как это делает человеческий мозг. Но все же эта область, ИИ, как раз пытается это делать. Это попытка решить проблемы или попытаться сделать то, что мы, люди, делаем в компьютере.

Если я дам эту картинку ученику начальной школы лет десяти и спрошу: «Что происходит на этой картинке? Объясни своими словами, что происходит», я ожидаю, что он, конечно, узнает Обаму. Но я также ожидаю некоторого анализа того, почему люди считают смешным то, что происходит. Но если вы попросите GPT объяснить эту картинку, вы получите следующее: «На картинке изображена группа мужчин в официальной одежде». Дальше я пропущу середину и перейду к последнему предложению: «Настроение на картинке кажется веселым и жизнерадостным». Таков вывод в результате анализа этой картинки. То, что сейчас делает ИИ, — это просто описание того, что он видит: некоторые люди носят костюмы, они черные, и есть белый треугольник спереди на груди. Он также видит, что люди на фотографии улыбаются. И когда люди носят костюмы, то, вероятно, они улыбаются — это уровень анализа, на котором мы находимся сегодня. Очень поверхностный, мы называем его синтаксическим пониманием. Речь идет только о синтаксисе. Это не имеет никакого глубокого смысла.

*Мы понятия не имеем,
как вычислять,
программировать вещи
так, как это делает
человеческий мозг*

Когда я говорю: Джулия понимает, что кто-то понимает, что Обама понимает и так далее, это то, что мы называем теорией разума. И это сама по себе увлекательная тема, в которую сейчас нет времени углубляться. Это способность читать мысли других, смотреть на человека и понимать, о чем он думает. В настоящее время нет ни компьютеров, ни машин, ни чего-либо еще, что могло бы попытаться имитировать эту область. А теория разума — это основополагающий когнитивный инструмент. В таких областях, как дипломатия и переговоры, политическая стратегия и проведение кампаний, разрешение конфликтов и так

*Теория разума –
это основополагающий
когнитивный инструмент.
В этих машинах
нет теории разума*

далее, во всех этих областях, которые мы хотим решать как люди, взаимодействуя с другими, крайне важно понимать, что думают другие люди, что они чувствуют и каковы их цели. И сегодня, как я уже упоминал, машины, системы искусственного интеллекта, которые у нас есть, не имеют

ничего общего с этой областью. В этих машинах нет теории разума. Так что подумайте об этом, если хотите использовать ГРТ для разрешения конфликта.

Так что же тогда представляет собой ИИ как область исследований? Если коротко, это то, что делают люди и что мы можем делать, а машины пока не могут. Это область исследований, над которой мы работаем в области искусственного интеллекта. И это очень расплывчатое определение. Что это значит? Что мы, люди, делаем каждый день, чего не может компьютер? Вот вам пример: смена постельного белья. Это одна из самых больших нерешенных проблем в области ИИ и робототехники. Если бы нам удалось заставить робота менять постельное белье, он был бы в каждом отеле. Столько исследований велось начиная с 80-х годов, и мы до сих пор далеки от решения. И это также объясняет кое-что о нас, людях, ведь мы можем взять кусок ткани и понять, почувствовать пальцами, один это кусок ткани или два. Мы можем разделять куски ткани и работать с ними так, как не могут компьютеры. Но у нас есть компьютеры, которые более чувствительны. У нас есть роботы, которые чувствительнее наших пальцев. У нас есть роботы, которые обладают более мощным или более быстрым мозгом, чем наш. У нас есть машины, которые могут идеально отображать пространство, три измерения, в которых мы находимся. Но все же мы не можем справиться с этой простой задачей — научить их вдевать одеяло в пододеяльник.

Я упомяну еще пару вещей: вождение автомобиля, разговор. Существуют системы, которые пытаются имитировать эти действия, но они терпят сокрушительные неудачи в этих областях. Некоторые из вас, вероятно, думают: «А разве они не умеют общаться? Разве они не могут расшифровать текст с изображения?» Мы видели, как это происходит. И я постараюсь показать вам несколько примеров.

ИИ, который нам продают Кремниевая долина и наши собственные правительства, на самом деле не пытается делать то, что делаем мы, люди. Вы, вероятно, слышали о машинном обучении. Итак, я программист, я работаю программистом много лет. Если бы мне дали задание: «Вот вам изображение рукописной цифры. Напишите компьютерную программу, которая посмотрит на это изображение и скажет мне, какая это цифра», сделать это без машинного обучения невозможно. Вместо того чтобы программировать компьютер, мы находим разные примеры. Мы показываем компьютеру, что это цифра 0, а затем приводим сотни примеров с этой цифрой, затем приводим сотни примеров с цифрой 1, цифрой 2 и так далее. Машинное обучение находит статистическую информацию в данных и строит статистическую модель. Многие, вероятно, думают, что машинное обучение — это обучение чему-то, что оно учится, пока мы его используем. А обучения нет. Так же как у ИИ нет интеллекта, в машинном обучении нет обучения. Те из вас, кто занимался статистикой, возможно, видели нормальное распределение, похожее на колокол. Тут то же самое. Мы просто строим что-то в форме колокола для каждого из этих чисел. Мы строим статистическую модель.

Сколько людей летало международными авиалиниями из Соединенных Штатов в период с 1950 по 1960 год? Если посмотреть на данные о полетах, то можно увидеть некоторую закономерность. Прежде всего количество этих людей постепенно увеличивается. Можно увидеть также некоторые сезонные изменения: цифры больше летом, в весенние каникулы, на праздники, Хэллоуин или День благодарения. Это то, что мы называем сезонными колебаниями. Если бы я в 1960 году дал вам задание предсказать на год вперед международный трафик авиaperелетов, то это звучало бы как совершенно невыполнимая задача, не так ли? И это действительно невыполнимая задача: ковид показал, что невозможно идеально предсказать рейсы на год вперед. Вы могли бы взять данные прошлого сезона и на их основе что-то предсказать. И это именно то, что делают компьютеры, когда пытаются предсказать будущее. Итак, всякий раз, когда вы слышите, что что-то предсказывает будущее, и вам кажется, что это звучит как магия, просто подумайте о том, как легко предсказать что-то хорошее.

Я хочу поговорить о некоторых плюсах и минусах распознавания лиц. Например, с его помощью вы можете разблокировать свой телефон и компьютер. И искать в своих фотоальбомах фотографии своего внука. Это очень хорошо. Но есть и недостатки. Как вы знаете, во время израильско-палестинского конфликта Израиль просто запускал беспилотники над толпами людей и фотографировал. ЦАХАЛ загрузил все

*Когда вы слышите,
что что-то предсказывает
будущее, и вам кажется,
что это звучит как магия,
просто подумайте о том,
как легко предсказать
что-то хорошее*

эти фотографии в Google Photos и спросил: «Где на других фотографиях эти люди? Можете ли вы найти этого человека на другой фотографии?» Существует система под названием Lavender — это программное обеспечение, которое классифицирует людей как террористов или нет. У ЦАХАЛа есть список из 34 000 или 35 000 человек, которые классифицированы как террористы. Было проведено внутреннее исследование того, насколько хорошо работает эта система. И обнаружено, что по крайней мере в 10% случаев были сделаны ошибки в распознавании. Это означает, что минимум 3500 человек попали в список террористов по ошибке. А эти данные между тем передаются в другую систему под названием «Где папа?», которая отправляет солдатам ЦАХАЛа уведомление на телефон, когда террорист, то есть тот, кто был распознан как террорист, находится дома. Солдаты ЦАХАЛа получают уведомление, и у них есть 15 секунд, чтобы принять решение. Они смотрят на фотографию и решают, верно человек попал в реестр или это ошибка системы.

Несколько исследований показали, что системы распознавания лиц лучше работают с молодыми и красивыми людьми. А если на человеке очки, система сработает не так хорошо, как без очков. Был также эксперимент с фотографией профиля в «Твиттере». Один парень проделал следующее: взял коллаж из двух фотографий. Наверху — Митч Макконнелл, внизу — Барак Обама. И загрузил ее в «Твиттер» как фотографию профиля. «Твиттер» пытался найти на фотографии лицо и выбрал лицо Митча Макконнелла. Парень попробовал еще раз, поменяв местами Барака Обаму и Митча Макконнелла. И снова «Твиттер» выбрал лицо Митча Макконнелла. То есть система работает следующим образом: смотрит на прямоугольник на картинке и определяет вероятность того, что это лицо. Вероятность того, что Митч Макконнелл — это лицо, может быть 99,9%. Затем она переходит к Бараку Обаме и решает, что вероятность равна 99,8%. Так система делает свой выбор.

Сегодня у нас есть беспилотные автомобили. По крайней мере, они пытаются быть беспилотными. И они работают так: сканируют пространство на предмет препятствий и пытаются их избежать. Предположим, у вас есть «Тесла», которая едет по улице на слишком высокой скорости. И вдруг появляются два препятствия: одно — Митч Макконнелл, а другое — Барак Обама. И у машины срабатывает точно такая же система распознавания изображений. Вероятность того, что Барак Обама — человек, немного меньше, чем вероятность того, что Митч Макконнелл — человек, по ее мнению. Поэтому, чтобы минимизировать ожидаемый ущерб, машине нужно переехать чернокожего. Потому что эти системы распознавания изображений, как и все остальные, обучены на фотографиях белых, здоровых людей. Например, «Тесла» переехала женщину, которая шла рядом со своим велосипедом, потому что она выглядела чем-то с двумя ногами и двумя колесами и была нераспознаваемым объектом. Точно так же эта система плохо справляется

с перевернутыми изображениями, не факт, что она узнала бы пожарную машину, если б увидела ее изображение вверх колесами.

Другая область, где машинное обучение сегодня широко используется, — это преобразование текста в речь и речи в текст. Если вы хотите распознать речь, вы превращаете ее в изображение, смотрите на него и просто его распознаете. Но если вы делаете программное обеспечение для распознавания речи, вы также можете сделать программное обеспечение для клонирования голоса. И сегодня невероятно легко поддерживать разговор голосом другого человека. Почему? Потому что у нас много данных. Посмотрите на современных подростков, которые сидят в комнатах по 10 часов в день со своими телефонами, снимая себя на видео и разговаривая. Это рай для сборщиков данных. Snapchat опирается на крупнейшую частную коллекцию лиц, видео, голосов и сообщений молодых людей. И мы просто

*Системы распознавания речи
очень легко можно использовать
для любых целей*

поощряем это, потому что мы также используем Snapchat для отправки фотографий, верно? И сегодня невероятно легко, имея всего пару секунд чьей-то речи, клонировать голос. А системы распознавания речи очень легко можно использовать для любых целей, в том числе чего-то противозаконного.

Давайте перейдем к тому, почему ИИ так популярен сегодня, а именно к генеративному ИИ или языковым моделям. Как работают эти языковые модели? Они обучаются на вопросе: какое следующее слово будет в предложении или абзаце? Представьте, что вы пытаетесь читать книгу и, прежде чем перевернуть страницу, вы угадываете следующее слово на следующей странице. Мы, люди, можем делать это довольно неплохо. И, конечно же, вы знаете, что иногда это сделать невозможно. Например, страница заканчивается на том, что «Гарри Каспаров сделал ход». А на следующей написано: «Е4». И, возможно, нужно быть гроссмейстером по шахматам, чтобы это угадать. Но эти системы, эти языковые модели действительно сверхчеловечески хороши в угадывании следующего слова по заданному тексту. И они делают это, по сути, потому что обучаются на всех существующих письменных материалах, на всем, что есть в интернете. Они просто дополняют следующее предложение. И это то же самое, что делает GPT. Вы даете ему несколько слов, и он просто выдает больше текста. Проблема в том, что все эти примеры неверны. Поэтому все эти дополнения, которые делают и GPT, и другие языковые модели, неверны. У них нет понятия о культуре, нет понятия о нашем культурном наследии. Их учили только по книгам, по новостям, по энциклопедиям, по учебникам, по художественной литературе и исследованиям, и все эти данные рассматриваются ИИ одинаково. Их учили по Библии и Корану, по террористическим манифестам, по детективным романам Агаты Кристи, и им не говорили, что это хорошо, что это

хорошее поведение, а что нет. Их просто натренировали на всем объеме текстов, и они не различают, что вымысел, а что факты, от лица кого этот текст — преступника, протагониста или антагониста. Более того, эти машины не действуют логически. Они просто позволяют происходящему течь. Я обычно пытаюсь объяснить, что эти языковые модели работают как театр импровизации. В чем цель театра импровизации?

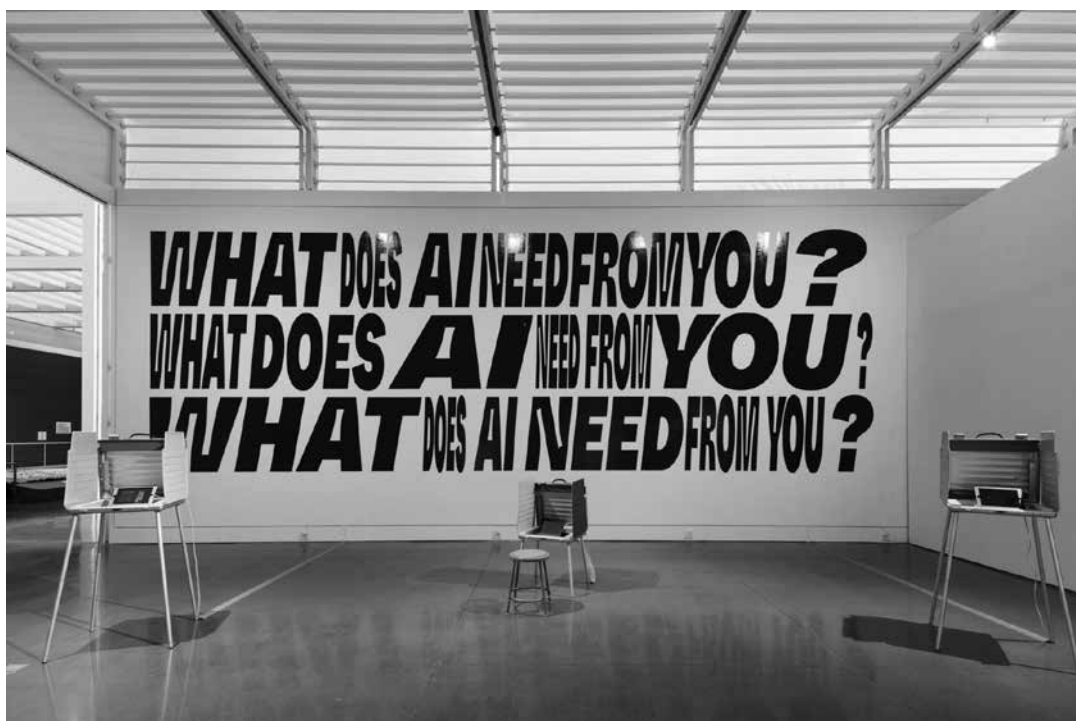
*У ИИ нет понятия
о культуре, нет понятия
о нашем культурном
наследии, он не может
отличить правду от лжи*

Поддерживать диалог. Или в том, чтобы быть фактически верным, не лгать? Нет, цель — поддерживать диалог. И именно это делают эти модели, системы. Речь о том, чтобы просто создавать текст, который звучит естественно, чтобы убедить нас в том, что это человек. Вот я даю ИИ

данные: Борис — сын Альберта, у Бориса есть дочь Карина. Борис — дедушка? Очень простой вопрос, который можно задать первокласснику. И ИИ отвечает: «Да, Борис — дедушка Карины. Но у Бориса есть дочь Карина. Так что Борис, вероятно, отец Карины».

Итак, у ИИ нет понятия культуры и наследия. Он просто обучен на тексте. И он не может рассуждать, поэтому он не может отличить правду от лжи. Он воспроизводит только естественный язык. Обман, который здесь происходит, заключается в том, что вы пытаетесь сказать, что знаете что-то, но на самом деле вы просто создаете текст. Это немного похоже на политика, участвующего в дебатах. Цель дебатов — не представить факты. Цель — выглядеть правым. Вы создаете текст, чтобы казаться правым. Речь не о том, чтобы говорить факты. Если ваша цель — говорить факты, то вы проиграете все дебаты. Итак, еще несколько примеров. Я только что снова спросил этот GPT про фотографию Обамы с ногой на весах. И GPT ответил, что это фотография с Бараком Обамой. Здорово, да? И затем я спросил еще раз, и он ответил, что это цифровое изображение, мем, а не настоящая фотография. Ни одно подлинное событие не изображает Обаму, наступающего на чьи-то веса. Я спросил снова. Ответ: нет никакой подлинной фотографии Обамы; любое изображение, показывающее такую ситуацию, вероятно, изменено или сатирически отредактировано; ни один достоверный источник не показывает, как Обама буквально наступал на чьи-то веса или тело. И это ответ самой продвинутой модели, которая есть. Создатели говорят, что она использует продвинутое рассуждение, и это на самом деле технология. Она может сказать «нет». И они запрограммировали ее так, чтобы в тексте говорилось, что вы можете сказать «нет». Это буквально то, что они вложили. И теперь у вас есть модель, которая может время от времени говорить «нет».

Вы можете спросить ИИ, какая столица во Франции, и он ответит правильно, вероятно, в 999 случаях из тысячи, может быть, каждый раз, но это не значит, что он что-то знает. А что значит знать? В философии



Стефани Динкинс (Stephanie Dinkins). Что ИИ хочет от вас? 2021

определение знания таково: это обоснованное истинное убеждение. Это ваше убеждение, которое оказывается истинным, и у вас есть какое-то обоснование для этого убеждения. Что значит иметь убеждение? Вы должны быть способны рассуждать, почему это не так. А эти языковые модели не могут рассуждать, поэтому у них не может быть никаких убеждений. Они не могут ни во что верить, поэтому у них не может быть знаний в соответствии с этой моделью.

Так в чем же эти языковые модели действительно преуспевают? В чем они хороши? Они отлично справляются с созданием вещей, которые мы хотим предложить людям, чтобы продать идею. Фейковые фотографии и сгенерированные компьютером тексты. Частая история: вы видите в «Твиттере» или где-то еще фотографию с подписью: «Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь». Просто нажмите эту кнопку, и вы поделитесь со всеми своими друзьями в своей соцсети, думать не надо. Но если вы внимательно посмотрите на фотографию, вы увидите разные нестыковки, маленькие детали, которые неправильны. Но в течение первой секунды вы не можете сказать, что это сгенерировано. И вы просто делаете репост.

Иран и Израиль. Иранцы опубликовали фотографию израильского истребителя F-35, который они якобы сбили, с подписью: «Мы выиграем эту войну». Всем понравилось, все поделились ею. Она облетела весь мир. Но это, конечно, была подделка. Если приглядеться, то немного

странно, что люди на фотографии такие же большие, как истребитель. И нет никаких следов от самолета, который упал на песок. И таких фейковых изображений ходит много. И что мы будем с этим делать? Когда мы смотрим на листовку, сколько работы требуется, чтобы убедиться, что она поддельная? Возможно, дни или недели журналистских расследований, чтобы доказать, что это на самом деле фейковая история. А если у вас 100 тысяч таких листовок? Вы не сможете проверить их все.

Последний пример, который я хочу привести, связан с проектом, в котором я участвую. Я занимаюсь тем, что называется транскрипцией и обобщением речи. Я работаю с иммиграционными службами в Норвегии, и мы пытаемся расшифровать собеседования по вопросам убежища. Что может пойти не так? Дело в том, что расшифровщики аудио обучены на аудиокнигах и видео

с YouTube. И в основном на людях с очень хорошей дикцией. Фактически эти системы, которые мы сейчас используем для расшифровки встреч, также используют для расшифровки

*Языковая модель может
99 раз сработать правильно,
а в сотый дать сбой.*

И мы, люди, теряем доверие

допросов преступников. Но эти системы не работают с людьми с нарушениями речи, с людьми, находящимися в состоянии сильного стресса, которые заикаются или делают длинные паузы в своих ответах. Они не работают с сильными акцентами. А в Норвегии у нас много диалектов, которые очень отличаются. Но они не работают с диалектами, которые не являются основными. Была опубликована статья по результатам исследования диалогов с людьми с нарушениями речи. Разговор был о том, что кому-то пришлось бежать и вызывать пожарных, чтобы спасти и отца, и кошку. Затем в разговоре был перерыв, во время которого в микрофоне был какой-то шум, но транскрипция речи продолжала работать. И в журнале этого человека появилась запись о том, что все, что у него было, — это вонючая, старая, пропитанная кровью коляска. И если аудио не сохранилось, то этот журнал все, что есть. Вы не видите текст до окончания встречи и не можете сразу проверить верность расшифровки. И вот вы проходите восемь часов собеседования по делу о предоставлении убежища, а потом читаете подобное в расшифровке. И думаете: там такое было или нет? Может быть, я не обратил внимания? Как это проверить? А если это разговор с преступником, или, не знаю, с иммигрантом, или с кем-то, кто боролся за жизнь...

Языковая модель может 99 раз сработать правильно, а в сотый дать сбой. И мы, люди, теряем доверие. Мы теряем доверие к журналистам. Мы теряем доверие к правоохранительным органам. И мы теряем доверие к правительству, которое использует эти системы, а мы знаем, что они допускают ошибки. Консультация пациента с врачом, по итогам которой языковая модель через некоторое время резюмирует то, что было: выбирает самые важные факты и помещает в медицинский

журнал. Например, пишет: пациенту 20 лет, ИМТ 14,8. Но на консультации не упоминался ИМТ. Пациентка говорила, что она много бегает, но чувствует, что ест слишком много. Так что, может быть, у нее расстройство пищевого поведения. Но теперь в ее медицинском журнале указан дефицит веса с медицинской точки зрения. И она возвращается к врачу через год, через два года, и врач говорит: мы видим, что у вас был ИМТ 14,8. Хорошо, если врач прочитает заключение, где нет упоминания никакого ИМТ. Таким образом, мы теряем доверие не только к журналистам, правоохранительным органам и правительству, но даже к службам здравоохранения, которые пользуются этими системами.

Нам всем нравится создавать изображения с помощью ИИ, потому что они милые. Но я прошу вас быть осторожными, публикуя эти изображения в интернете, публикуя в интернете текст, сгенерированный ИИ! Интернет загрязняется сгенерированной штукой. Я сделал прогноз, что через 20 лет человечество попытается удалить сгенерированный ИИ материал из интернета, как мы пытаемся сейчас удалить пластик из океана.

Несколько заключительных замечаний по поводу языковых моделей. Мое правительство, и, возможно, ваше правительство, и все правительства мира говорят, что нам нужно создавать больше языковых моделей. Нам нужно проводить их исследования. Нам нужно улучшать их. ИИ обучается на украденных данных. Он создает производные работы. Сейчас идет много судебных исков, в которых утверждается, что GPT-4 создает статьи, которые слово в слово эквивалентны статьям The New York Times, без надлежащего цитирования. Более того, он фактически публикует статьи The New York Times, которые The New York Times не печатала, и ссылается на The New York Times. Вопрос: законно ли это? Ответ: нет, хотя это может измениться, потому что у нас есть законодатели, которые хотят сделать это законным. Но считаем ли мы это нормальным? Если вы пишете диссертацию или статью и используете GPT, мы не знаем, кому это принадлежит в результате. Это ваше авторское право или чье-то еще? Или, может быть, это не защищено авторским правом? Конечно, есть проблемы с конфиденциальностью. Если у вас есть ваши изображения в интернете, вы находитесь в этих моделях изображений. И вы не можете это удалить. То же самое с текстом. Если в интернете есть тексты о вас или ваши, вы теперь находитесь в этих языковых моделях. И вы не можете их удалить. У вас никогда не спрашивали разрешения на включение в эти языковые модели. Но вы тем не менее там. И, конечно же, мы должны быть честны, когда говорим, что эти модели созданы исключительно для замены рабочих. Именно этого мы хотим добиться. Подводя итог, хочу сказать, что мы далеки от повсеместного использования искусственного интеллекта и машинного обучения. У нас есть некоторые проблемы. И есть куча вещей, которые я не осветил, потому что недостаточно компетентен и у нас недостаточно

времени. Нам нужно многое обсудить относительно ИИ. ИИ — это дегуманизирующая технология. Мы буквально пытаемся взять человеческий труд и превратить его в машинный.

*ИИ – это
дегуманизирующая
технология*

Существует сильная связь между ИИ и фашистским движением. Вы видите людей, которым интересно, кто на самом деле стоит за этим, за этими моделями. Очень много идей из евгеники, идей расизма. Есть движение под названием TESCREAL (трансгуманизм, экстропианство, сингулярианство, космизм, рационализм, эффективный альтруизм, долгосрочность). Вы, вероятно, слышали о Питере Тиле, Сэме Альтмане из OpenAI, Нике Бостроме, известном футурологе. Все они — те, кого называют «реалистами задач». Они — сторонники евгеники. Они хотят, чтобы у определенных людей было больше детей. И да, это стоило бы обсудить, но я недостаточно компетентен, и у меня нет времени сейчас на это. Спасибо.

Дискуссия: вопросы и ответы

Мирза Ч.: Я работаю в сфере прав человека в Азербайджане. Существует множество авторов и писателей, которые подают заявки по всему миру в различных системах. И у судов возникают проблемы с доказательством того, действительно ли это их работы, потому что сложно понять технически, что на основе этих книг была создана обычная модель ИИ, что она обучалась на основе каких-то конкретных книг. Это первый вопрос. И второй вопрос... Годами мы придерживались консенсуса, что только автор имеет право на интеллектуальную собственность. Это обсуждается практически во всех юрисдикциях. Роль этой системы — большая проблема, потому что мы не можем просто написать, что есть авторы, ведь есть вопрос патентования и так далее, который разрушит всю систему. Какова степень вмешательства человека, когда мы можем сказать, что он вмешался, чтобы сделать объект объектом собственности?

П. Дранге: Спасибо за вопросы. Первый вопрос: как мы можем узнать, было ли что-то включено в обучение? И, конечно же, ответ заключается в том, что мы не можем знать этого наверняка, за исключением случаев, когда эти модели в конечном итоге генерируют тексты дословно. Как было в случае с иском The New York Times против OpenAI и Microsoft. GPT фактически слово в слово генерирует их статьи. Так что это довольно веский аргумент в пользу того, что их статья была включена в обучение этого набора данных. Мы знаем часть набора данных, на котором они обучались. Но, конечно, мы не можем знать наверняка, что именно вошло в обучение, если ИИ не сгенерирует это дословно. А это вряд ли произойдет. Так что мало шансов узнать, что вошло в обучение. И второй вопрос о том, кто владеет, кому принадлежит какая работа.

Возможно, с помощью отпечатка пальца GPT это получится решить. Да, компьютеры не могут быть владельцами авторских прав.

Если вы написали документ, проверяете его орфографию и программа проверки орфографии поменяла некоторые слова, то это ваши авторские права или вы их потеряли? Вы потеряли авторские права на измененное слово? Вероятно, нет, потому что вы не копируете слова, вы копируете идею. Если у вас есть основная идея и вы ее конструируете, возможно, пишете некую историю, но эта история написана плохо.

Вы вводите текст в GPT и получаете нечто совершенно отличное от того, что написали, но суть, идея все та же. Разве это не ваша работа? Я думаю, многие согласятся, что это все еще ваша работа, что GPT ее просто преобразовал, но основная работа ваша. Именно так многие люди сегодня используют GPT и системы обработки изображений: они дают первоначальную идею, а затем просят GPT преобразовать ее во что-то лучшее. Авторские права относятся к вашей исходной работе, и преобразование не подпадает под действие авторских прав. Еще очень рано в этом разбираться. Эти языковые модели существуют пять лет. У нас нет законодательства, регулирующего это. И оно нам, конечно, нужно, но кто знает, как оно будет выглядеть.

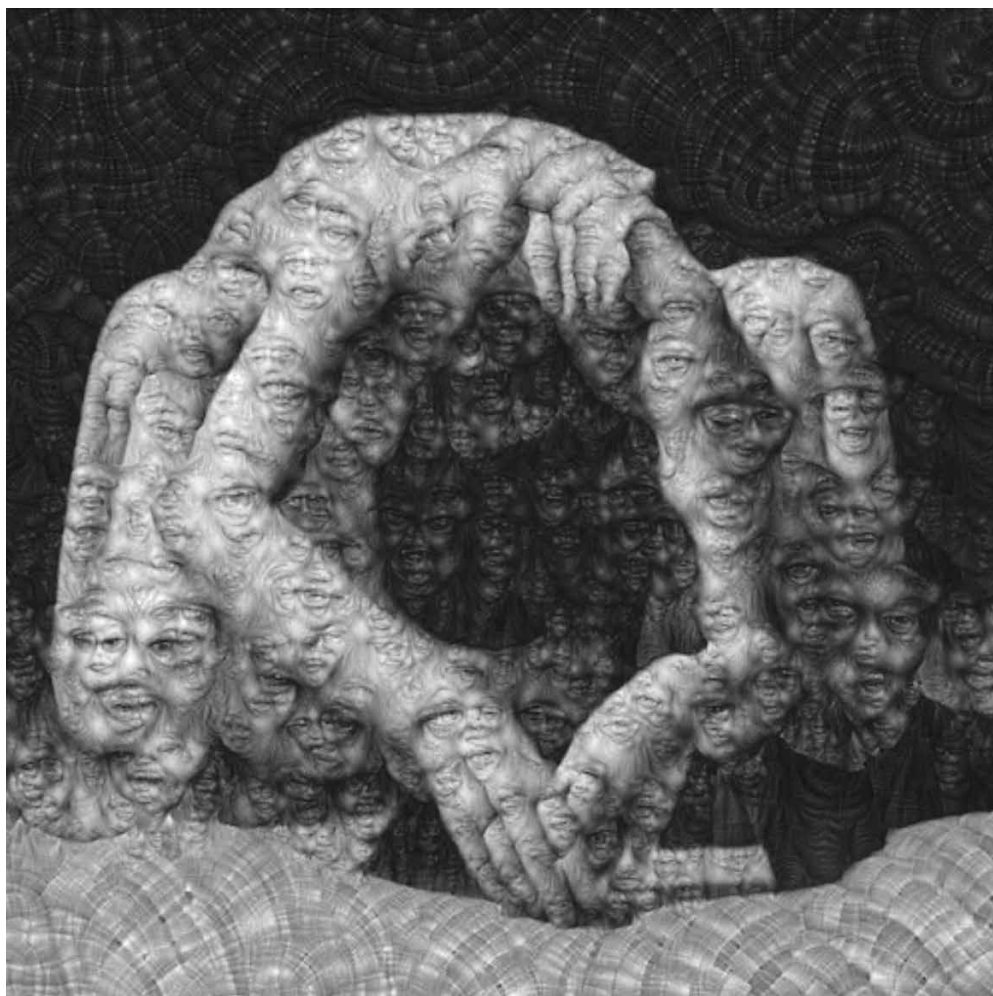
*Компьютеры не могут
быть владельцами
авторских прав*

Участник: Вы упомянули, что интернет уже наполнен информацией, созданной ИИ: фотографиями, текстами, сценариями и т.д. Вы удачно сформулировали, что мы будем извлекать пластик из океана и художественный мусор из интернета. Скажите, пожалуйста, как мы можем обучить искусственный интеллект, не используя контент, созданный искусственным интеллектом? Потому что иначе получится своего рода замкнутый круг.

П. Дранге: Мы понятия не имеем, как это сделать. Мы точно знаем, что качество этих систем падает, когда вы скормливаете им их собственную работу. Они становятся более заикленными, как при обсессивно-компульсивном расстройстве. Вы заикливаетесь на этих идеях, скормливаете им методы их обучения, и они становятся еще более заикленными и производят все больше этой одномерной информации. В настоящее время нет методов, которые могли бы сказать, что это сгенерировано и создано человеком. Были исследования, направленные на то, чтобы получить отпечатки выходных данных этих систем. Но сделать это качественно невозможно. Сегодня большая проблема, во-первых, получить отпечатки генерируемых вещей. И, во-вторых, определить, что генерирует ИИ. Когда мы публикуем в интернете фейковые материалы, мы должны четко давать понять, что это фейк. Чтобы было действительно видно, что это фейк. Да, обучение работает не по полной картинке, а по ее фрагментам. Может быть, в будущем мы больше не сможем обучать эти модели на всем контенте в интернете.

Алексей Волошинов: Я журналист Deutsche Welle. И я хотел спросить вас о европейском законодательстве в плане ИИ. Возможно ли регулировать ИИ в конкретном субъекте международного права, например, в данной стране или в данном союзе? Потому что, учитывая, что в наши дни есть несколько способов прекратить торговлю, мы можем использовать системы ИИ локально, есть куча способов анонимизировать наше использование ИИ. Возможно ли вообще регулировать использование ИИ в данном государстве или союзе, как это пытается сделать ЕС, или мы должны попытаться делать эту работу на международном уровне? Если вы не думаете, что это возможно, то небольшое дополнение: как вы думаете, имеет ли вообще смысл регулировать его в Европейском союзе, как это делается? Потому что, судя по тому, что мы читаем, единственное, что делает ЕС, регулируя ИИ, — это проигрывает в конкуренции Соединенным Штатам и Китаю, где законодательство не такое уж жесткое.

П. Дранге: Сначала о том, что мы каким-то образом проигрываем гонку. Я в это совершенно не верю. Дело в том, что именно исследования 2017 года привели к созданию GPT. Именно исследования позволили нам создавать эти модели. А после публикации исследования стало возможным просто скачать все из интернета. Сегодня любой, кому нужны деньги, потому что нужны большие вычислительные мощности, любой, кто хочет создать свою собственную языковую модель, может это сделать. Так что я не думаю, что мы проигрываем эту гонку, потому что исследования доступны всем. Китай показал с DeepSeek, что может очень легко создать модель всего за пару месяцев. Но стоит ли и нам это делать? Потому что речь идет о скачивании всех этих защищенных авторским правом работ, а это незаконно. Так что да, каждый, кто хочет этим заняться, может это сделать, но при этом придется нарушить закон. Когда дело доходит до законодательного закрепления ИИ, самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, что такое ИИ. У нас нет четкого определения. И это возвращает нас к тому, что я пытался объяснить, что такое ИИ и что такое машинное обучение. И вопрос в том, что нужно где-то провести границу. Если вы пишете текст и проверяете его орфографию, это не машинное обучение или что-то в этом роде. Но как насчет Microsoft Word, где вы изменяете абзац, меняете слова, чтобы читалось лучше? Это ИИ? Когда это становится ИИ? Чтобы принять закон, нужно сначала определить, о чем мы говорим. Очень сложно сказать, что мы пытаемся здесь узаконить. Я вообще-то думаю, что нам не стоит принимать законы по всем этим вопросам. Закон уже есть. Он гласит, что скачивание этого закона об авторском праве незаконно. Так что закон уже есть. Нет ничего нового, чего мы не могли сделать раньше, кроме того, что теперь мы можем создавать более естественно звучащий текст. Вопрос в том, почему компьютерная программа, создающая



Майк Тука (Mike Tuca). Отказ от борьбы. 2017

естественно звучащий текст, нуждается в дополнительных законодательных актах. У нас уже было законодательство, которое работало, когда компьютер генерировал другие вещи и принимал решения, не используя языковые модели.

Эрик: Я исследователь из Стокгольмского центра устойчивости. Я занимаюсь глобальными проблемами, связанными с климатом. Мне очень любопытно спросить вас, каково ваше видение этого потенциала или нашей идеальной государственной системы, как мы должны лучше регулировать ИИ? Например, некоторые считают, что если эксперты объединяются и разрабатывают определенные модели, то неспециалисты тоже должны быть частью этого процесса проектирования. Считаете ли вы важным поддерживать связь с гражданским обществом, с широкой общественностью при разработке этой модели? И считаете ли вы лично,

что если мы будем продвигать более открытый исходный код, прозрачность данных, любые вещи, модели и решения в области разработки ИИ, это действительно поможет нам? Избежать всего этого фашизма и позднего капитализма? Если вы считаете это важным, как вы гарантируете, что люди, входящие в своего рода междисциплинарные команды, смогут внести свой вклад, не слишком отстраняясь от ИИ как идеи, потому что они могут быть не столь оптимистичны в отношении потенциальных возможностей, которые он может создать, а, скорее, очень обеспокоены потенциальной опасностью? Как мы как эксперты можем увидеть возможности, как мы можем привлечь их к участию и попросить поделиться позитивными идеями, а не просто быть настроенными крайне негативно, что, конечно, тоже очень важно?

П. Дранге: Вопрос в том, кто решает, кто должен быть экспертом. Как нам выбрать хороших людей, чтобы взять их с собой? И я думаю, их ответ был бы таким: мы уже думаем об этом сейчас. Вы, вероятно, все слышали о согласовании ИИ и об этих движениях, которые предпринимаются, чтобы убедиться, что мы не создадим плохой или злой ИИ. Некоторые скажут, что это просто для того, чтобы отвлечь внимание от того, чем они на самом деле занимаются, т.е. говорят, что занимаются согласованием, в то время как хотят создать технологию, которая должна заменить людей. Итак, в нашем правительстве есть министр, который говорит, что каждый должен использовать ИИ в процессе принятия решений в правительстве. Похоже, наше правительство хочет заменить работников системами искусственного интеллекта, которые будут принимать решения за них. Вопрос в следующем: предположим, вы хотите заменить всех социальных работников, работников здравоохранения и правоохранительные органы искусственным интеллектом. На чем должен быть основан этот искусственный интеллект? Должен ли он быть создан по образцу женщины или мужчины? Человека с левыми или правыми взглядами? Либертарианца или кого-то более консервативного? Должен ли это быть иммигрант или коренной норвежец? Должен ли это быть богатый человек или бедный? Суть в том, что социальные работники, государственные служащие должны быть разными. Даже если вы создадите хороший искусственный интеллект, нельзя заменять государственных служащих одной системой.

О конце эпохи, режима, старого мира*

Я начну с того, что буду говорить о дискурсе «конца эпохи» в текущей постсоветской политической риторике. И говорить буду о том, что темой конца эпохи сейчас не удивишь даже совсем молодого человека.

Шесть лет назад кончилась доковидная эпоха. Она ушла безвозвратно, наградив человечество не только физическими и психическими недугами, но и настоящей революцией в области коммуникаций. Все эти новые образовательные тактики и стратегии работы с искусственным интеллектом привели, с одной стороны, к колоссальной атомизации образовательной среды, общества. А с другой стороны, к тому, что политика депрофессионализировалась. Политический язык пошел в массы таким «капельным путем». Это один конец эпохи, о котором надо говорить отдельно. Но он наступил для людей, которые могут осмыслить это время как конец эпохи, начиная с 12–13-летнего возраста. То есть новыми политическими субъектами сейчас стали те, кому сегодня 16–18 лет. Таких людей еще 5–10 лет назад никто вовсе не рассматривал как политическую среду, а сейчас они стали политической средой, глобальной и необычайно податливой. И язык, на котором эта среда говорит, исследован пока очень мало, но уже употребляется очень широко: это язык тиктокеров.

Например, вы все помните выборы в Румынии, отмененные на том основании, что вот эта, так сказать, «избирательская масса», среда, получала свою информацию и обменивалась информацией через «ТикТок», эту преимущественно подростковую сеть, минуя обычные, привычные политические каналы.

Но использовать это (или, если угодно, злоупотреблять этим) люди научились, а вот анализировать — пока нет. Я не нашел серьезных академических исследований этого сюжета.



Гасан Гусейнов,
доктор
филологических наук,
профессор

* Выступление на семинаре Школы в Вильнюсе 1 июля 2025 г.

Но оставим эту доковидную эпоху. А для людей, говорящих по-русски, по-украински, по-белорусски, по-литовски, три с половиной года назад кончилась так называемая постсоветская эпоха — началась полноценная война. Война вытолкнула только в страны Балтии десятки тысяч людей, и это люди, воспринимающие происходящее в диапазоне между концом света вообще и концом собственной упорядоченной жизни в частности. Это ощущение особенно контрастирует с упорядоченной жизнью в самих странах Балтии.

Этот дискурс конца эпохи имеет свое риторическое выражение, главным признаком которого (не единственным, конечно) становится крайнее межпоколенческое раздражение. Если говорить вчерне и задавать вопрос, чем оно вызвано, то ответ может быть такой: вызвано оно разрывом в образовании.

Старшие — те, кто учился и защищался в предыдущие десятилетия, — имели некоторую подушку интеллектуальной безопасности в виде образования.

Младшие — особенно дети и подростки, которым приходилось переходить из школы в школу, а то и оставаться надолго вне всякой системы образования — страшно страдали, не зная при этом, что они страдали, и продолжают страдать, не зная, что они страдают. И примерно так чувствовали себя многие люди в конце 80-х — начале 90-х годов, я еще скажу об этом.

И вот эта многослойность когорты недополучивших образования молодых людей — одна из главных проблем дискурса крайнего взаимного раздражения, которое испытывают люди, ведущие (что вполне естественно) споры о происходящем в мире. В том самом мире, который прощается со своим прошлым с таким грохотом и с такими жертвами, как сегодня.

Мне самому легко говорить: я никогда не сидел под бомбежкой, я не был в лагере. Моя мать чудом выжила, когда подорвался на mine пароход, который привез ее девятилетней девочкой из Одессы в Новороссийск в 1941 году. И то, что она запомнила после детдома и потом еще нескольких месяцев лагеря, она мне рассказала — но сам-то я ничего подобного не испытал.

А здесь, в этой аудитории, есть люди, у которых как раз за спиной есть физический, непосредственный опыт конца эпохи в виде бомбежки, бегства буквально от пуль, а не просто от угрозы уголовного преследования, как у меня.

Но вернемся к истории окончания других эпох, которые помнят некоторые присутствующие. Здесь совсем мало тех, кто помнит конец советской эпохи, перестройки и наступление нового времени, которое, казалось бы, должно было стать временем настоящей политики, но так и не стало.

Вот это превращение прежнего почти политического языка в политический язык — одна из главных особенностей перехода, обозначаемого нами как перестройка.

Предыдущим крупным таксоном конца эпохи был финал оттепели: 1964–1968 годы. Опять-таки людей, помнящих это время, в здравом уме и в твердой памяти, живших и уже действовавших тогда, среди нас здесь, в этой аудитории, совсем мало, их можно пересчитать по пальцам одной руки.

Но каждая из этих эпох успела накопить свой словарь и свой способ общественной коммуникации. При сломе каждой из этих эпох, происходило нечто похожее на то, что все мы вместе переживаем сейчас, и этот дискурс конца эпохи мы и должны обсудить.

И здесь еще одно методологическое замечание: в 60–80-е годы Советский Союз и Россия — это все еще закрытое общество, которое рассматривает новое как впускаемое в свои пределы. «Нам принесут новое, его разрешат, и мы исправим свои вывихи и ошибки с помощью того, что достигнуто в контрольной группе, так сказать, умного Запада».

На выходе из идеологической эпохи конца 80-х годов отвергалась всякая идеология. Центральной идеологемой становился здравый смысл, было даже такое понятие «диктатура здравого смысла». Но эта рамка, в свою очередь, оказалась опасной мнимостью (о ней я еще скажу). Советская эпоха формально кончилась, но не была осмыслена в своей фактической актуальности. И после так называемой перестройки произошло спасительное раздробление советского пространства. Жизнь в периферийных регионах бывшего Советского Союза пошла одним путем, жизнь в Российской Федерации — другим, и эта жизнь синхронизировалась с другими соседними очагами культуры и политики, начала постепенно осваивать новый для себя словарь, новые навыки политического поведения и языка.

*Каждая из эпох
успела накопить
свой словарь и свой
способ общественной
коммуникации*

На заднем плане все еще оставались сильные образы, сюжеты, политические синтагмы советского мира, но соседство развитого в политическом отношении нового мира — в случае стран Балтии имеется в виду прежде всего Польша и так далее — вот это соседство сравнительно быстро обеспечило переход к восточноевропейскому дискурсу не столько конца старого мира, сколько начала нового. И сейчас, спустя целое поколение, выходцы из постсоветской эпохи оказались выброшены из нее и не располагают временем, чтобы эту свою недавнюю эпоху осмыслить в ее фактической актуальности.

И здесь возникает проблема понимания конца эпохи в двух основных регистрах, которыми я как раз занимался. Я очень благодарен за сегодняшнее участие в этом семинаре и хотел бы только уточнить, что античность часто представляет собой ключ к тому, что мы наблюдаем в нашей текущей повседневности.

*Основным мотором создания
некоего нового политического
языка была идея отказа
от идеологии*

Буквально шесть лет назад я водил своих студентов по Риму. У нас в Высшей школе экономики были такие «римские практики», студенты готовились к ним, самостоятельно делали доклады, сами проводили тематические походы по Риму. И один из таких походов был связан со сравнением фашистского Рима и императорского Рима. Потому что

для Муссолини, для довольно продолжительной эпохи фашизма императорский Рим представлял собой, конечно, некую чрезвычайно удобную парадигму. Вот в связи с этим многие студенты тогда как раз прочитали Светония, и

меня поразило, до какой степени описание риторики Тиберия у Светония точно соответствует риторике Путина.

Учитель Тиберия, грек Феодор Гадарский, сказал о том, каким будет правление Тиберия, описав риторические навыки, способы высказывания этого будущего императора. Он сказал, что его стиль — это «грязь, смоченная кровью». И это поразительное описание очень точно отражает основу путинской риторики, если здесь можно говорить о риторике вообще.

Но вернемся к нашему сюжету, а именно к тому, каким образом оказалось, что этот дискурс конца эпохи так отличается в наше время, после начала войны (неважно как считать: с 2014-го или с 2022 года), от дискурса конца эпохи перестроечного времени.

Как я уже сказал, в первом случае основным мотором создания некоего чаемого нового политического языка была идея отказа от идеологии: от советской, коммунистической идеологии, называйте как угодно. Шестая статья Конституции о роли партии будет отменена, идеология будет отставлена, установится просто здравый смысл, и все будет прекрасно. Главное, что никакой идеологии не должно быть. Даже в Конституции Российской Федерации был записан этот пункт, что никакой идеологии не должно быть.

Но тут выяснилась поразительная вещь, и она как раз глубочайшим образом связана с античной риторической теорией. Дело в том, что идеология представляет собой (если отбросить какие-то мелочи и сосредоточиться на главном) конструкцию мысли, которая предполагает различие между правильным и неправильным и предписание правильного и отвержение неправильного в определенных целях в будущем. Идеология направлена на будущее, она берет любую картину прошлого, настоящего и оценивает ее с точки зрения ее пригодности для будущего чего-то, что мы предполагаем создать, построить, организовать и так далее.

По этой причине, например, в любой многопартийной системе, у любой партии, в том числе демократической, есть какая-то своя идеология, можно назвать это политическими принципами. Идеология может



Умберто Брунеллески (Umberto Brunelleschi). Плакат к выставке «Итальянское искусство XIX и XX веков». 1935

быть связана с идеей поддержки свободного предпринимательства или с идеей обеспечения равных прав на образование — тут можно привести много разных примеров. Каждый пример по отдельности не кажется идеологическим, но когда вы смотрите на них в целом, то обнаруживаете, что да, вот здесь — скорее левая идеология, здесь — скорее центристская идеология, здесь — скорее либертарианская идеология и так далее.

Но гораздо сильнее и гораздо прочнее скрепляет общество, не имеющее никакого политического опыта, не идеология, а мифология.

Мифология отличается от идеологии только одним: мифология — это объяснение того, что по-немецки называется *Ist-Stand*, того, что есть сейчас.

Почему листья на деревьях шевелятся? Почему у сосны шелушится кора? Почему вода в океане соленая? Почему наступает ночь и почему наступает день? Мифология дает ответ на вопрос «Почему?», идеология дает ответ на вопрос «Зачем?». И вот если у тебя нет ответа на вопрос «Зачем?», то у тебя все это пространство занимает сакрализованный ответ на вопрос «Почему?».

Можно сказать, что рубеж отказа от идеологии и перехода к мифологии приходится на 90-е годы. Первые звонки — это риторика «великой России» у Ельцина, а потом, еще даже до наступления путинской эпохи, во второй половине 90-х, — объяснение всех последующих действий как «завещанных объясняющей картиной мира». Не «Зачем?», а «Почему?». И вот политический язык, который строится на обращении к прошлому как к сакральному и обладающему универсальной объяснительной силой; это обращение постепенно уничтожает запрос общества на политический язык.

И здесь есть или были процессы (их можно зафиксировать), которые в российском общественном сознании просто случайно совпали.

Прежде всего, это так называемая научно-техническая революция или

*Мифология дает ответ
на вопрос «Почему?»,
идеология — на вопрос
«Зачем?»*

интернетная (сетевая) революция. Появление довольно дешевых средств коммуникации и возможность, попав в эту Всемирную сеть, размять свои речевые навыки, воспользоваться одновременно такой вот устно-письменной речью, начать говорить совер-

шенно свободно, освободиться от условностей привычного медийного языка, когда у тебя нет редактора, нет никакого худсовета, тебе это не нужно — ты сам превратился в атом, в космонавта, который плывет в этом огромном пространстве и постоянно производит текст, и этот текст начинает замещать политические тексты.

То есть вместо политической речи появилось пространство для самовыражения. И здесь опять можно объяснить это все риторической теорией: старой доброй риторической теорией.

Когда Аристотель, Цицерон или Квинтилиан учили нас, ради чего существует человеческая речь, то они говорили примерно следующее: у человеческой речи есть пять основных функций:

- Есть функция выразительная или экспрессивная.
- Есть функция познавательная или когнитивная.
- Есть функция коммуникативная, или «общенческая».
- Есть функция управляющая.

Это четыре базовые функции, которые одинаковы у всех теоретиков риторик, но они должны быть в равновесии. Потому что если у тебя

хотя бы одна функция подавлена, то на эти четыре «ножки» нельзя будет положить сверху главную, перформативную функцию языка — ты не сможешь с помощью языка преобразовать мир.

И дальше получается поразительная вещь: в условиях, когда от твоего высказывания ничего не зависит, когда ты отрезан от политического производства, то ты не управляешь, то есть ни кибернетическим, ни манипулятивным качествами твоя речь не обладает. Мало того, если ты подавлен в отношении образования, то у тебя нет и когнитивного, твое когнитивное подавлено. У тебя остаются только два свойства в твоей речи: экспрессивное (ты действительно умеешь самовыразиться) и коммуникативное (ты можешь это донести до других). И эти два качества превратились в два основных элемента массового политического дискурса 90-х годов и текущего политического дискурса, в котором люди живут преимущественно в соцсетях, потому что от их высказываний на политическом уровне ничего не зависит: самого этого политического уровня нет.

Оказывается, что это состояние политического языка было прекрасно предсказано и описано всеми античными теоретиками риторики: когда от тебя ничего не зависит, твоя речь становится совершенно бессодержательной. Вернее, не так: она сохраняет содержательность только в отношении твоих эмоций. Но тут же рядом находится кто-то, у кого тоже есть эмоции, и он тоже их высказывает — и вы схлестываетесь языками, и ваше сосуществование превращается в адскую рубку, в срач. Срач заменяет политический дискурс.

А в это же время одновременно с вами действует какая-то совершенно непрозрачная для вас среда — опять-таки мифологическая, не идеологическая, потому что никакой картины будущего эта среда не рисует, она опирается на телесные практики, она опирается на практику пытки, на практику политического убийства, на практику бомбежки, на практику истребления людей, на практику подавления других языков, на практику насилия, насилия и еще раз насилия. То есть это неязыковая среда, которая пронизывает всю верхушку государственной власти, всех ее агентов без исключения — они просто мечены именно этой своей внеязыковой, внекультурной, но при этом мифологической краской. Это та краска, о которой Феодор Гадарский говорил, когда описывал риторическую практику Тиберия.

И вот у вас, с одной стороны, какие-то «всхлипы» людей, пытающихся коммуницировать, общаться на почве своих переживаний и стремящихся хотя бы сохранить площадку для дискуссий. А с другой стороны, совершенно внеязыковая, но чрезвычайно активная такая «вамп», которая пожирает других людей и выплевывает только гробы или людей без конечностей и без всякой возможности с ними потом как-то обсуждать это состояние.

Вот в этой ситуации дискурс конца эпохи представляет собой большой интерес, и я надеюсь, что мы можем его обсудить.

Дискуссия: вопросы и ответы

Сергей Подсытник: Я независимый журналист. Я достаточно искренне верю в то, что фиатные (от лат. fiat — декрет, указание. — *Ред.*) концепции, к которым относятся права человека, потому что они не обеспечены ни оружием, ни государственным насилием (государство — главный нарушитель прав человека), обеспечены верой в то, что так правильно.

Не кажется ли вам, что если мы не научимся, не переизобретем, не впишемся в новый язык, не научимся продавать в новых реалиях свои ценности, то с падением доверия к ним они в целом иссякнут? Они держатся на доверии, на мой взгляд. Поэтому как нам быть в ситуации меняющегося языка, меняющихся «маркетинговых практик»?

Г. Гусейнов: Есть несколько таких политических формул: «Будьте реалистами — требуйте невозможного!» — мы знаем эти формулы. И, как мне кажется, чрезвычайно важна концепция солидарности и кооперации.

Дело в том, что послеперестроечное поколение (сейчас как раз исполняется 40 лет после начала перестройки 1985 года) в целом оказалось чрезвычайно болезненно заражено антилевой, если угодно, идеологией и повесткой. И эта антилевизна вовсе не означает чего-то правого или чего-то консервативного. Антилевизна, недоверие, взаимное недоверие, недоверие к другим людям, страх кооперации, страх такого взаимодействия. К сожалению, часто это поддерживается какими-то политически безумными представлениями людей, поддерживающих какую-то... ну я сейчас не хочу вдаваться в глобальные политические процессы, но тем не менее.

Мне кажется, что то, что вы говорите о правах человека как некой константе, — это совершенно справедливо. И это та повестка — в нашем конкретном случае, в случае моих коллег, создателей Школы, — в которой речь идет о праве на образование как базовом, фундаментальном праве человека. Праве на образование, на свой язык и так далее. Вот для реализации этого права действительно нужна муравьиная работа и нужно взаимное доверие. Но как-то принудить к этому кого-то невозможно. Поэтому, может быть, это все и обречено на поражение, а может быть, и нет. Мне очень близко то, что вы говорите.

Рита Логинова: Я редакторка в медиа, журналистка, пишу, редактирую и сталкиваюсь с тем, что те ценности, которые кажутся мне очень важными, которые я хочу проводить в жизнь (в частности, видимость женского вклада в построение общества, политики и всего остального), часто наталкиваются на глухое раздражение, которое мешает находить общий язык. Я говорю, например, о феминитивах, потому что хоть они и набили уже оскомину, тем не менее каждый раз, какой бы текст мы ни написали о положении женщин, если там есть феминитив, то аудитория раздражается многоуровневой бранью, даже не читая то, что мы хотели

донести. Как вам кажется, какая стратегия продуктивнее в этом смысле? Придумать свои редакционные стандарты, следовать им, использовать феминитивы, даже, возможно, какие-то новые словоформы, которые еще не кодифицированы в словарях? Или же, чтобы находить общий язык, все-таки отказываться от этого и придумывать, как иначе рассказывать о том, что нам важно? Стоять на своем или быть гибче, как часто предписывается девочкам?

Г. Гусейнов: Я — горячий сторонник феминитивов на исторической, так сказать, основе. Дело в том, что в русском языке борьбу с феминитивами начали в середине XX века. Многие этого не заметили. А вот в книге Бориса Тимофеева «Правильно ли мы говорим?»¹ об этом прямо написано. Именно тогда, в начале 60-х годов (даже еще раньше, при позднем Сталине), началось вымывание феминитивов. Например, звание «Заслуженная артистка СССР» было заменено на универсальное «Заслуженный артист СССР». Вот Майя Плисецкая была не народная артистка СССР, как Галина Уланова, а уже народный артист СССР.

*В начале 60-х годов,
даже еще раньше,
началось вымывание
феминитивов*

И эта борьба с феминитивами в русском языке приобрела такие карикатурные формы, с которыми мы сталкиваемся. Потому что русский язык, в отличие от большинства других языков, невероятно богат суффиксами женского рода. Тут тебе и гусыня, и герцогиня, и княгиня, и -ка, и -ца, и докторица, фельдшерица и так далее. Если мы начнем читать, цитировать поэтов, мы увидим, что феминитивов очень много.

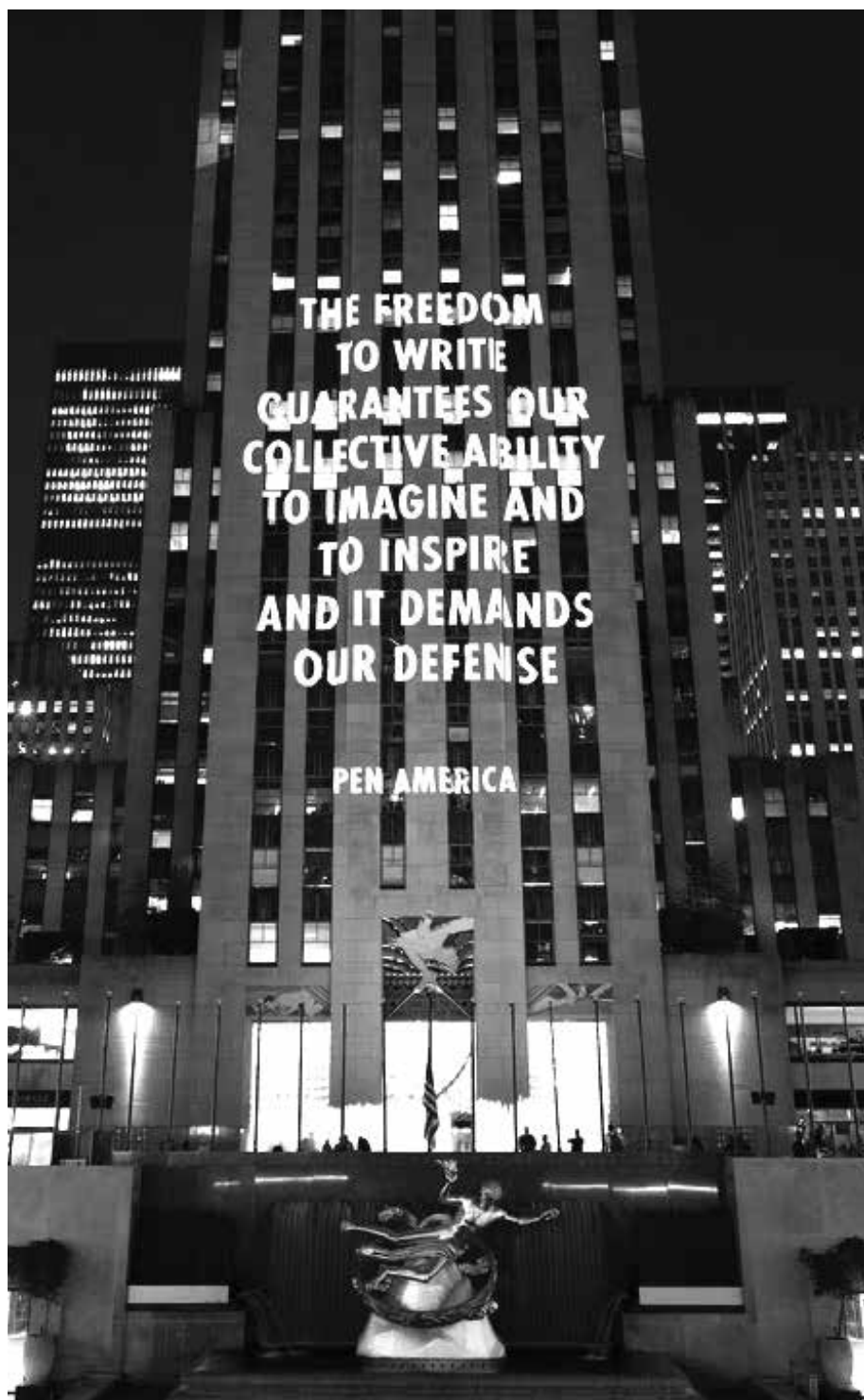
Поэтому мое предложение по стратегии такое: обязательно эти феминитивы вводить, пользоваться ими, но завести специальную страницу «Из истории русских феминитивов». Именно из истории, потому что в истории, начиная от протопопы Аввакума и через весь XIX век, есть писатели, у которых бездна феминитивов: от Достоевского и Тургенева до Толстого и Пушкина.

*Советское время
было временем
колоссального упрощения
языка, массового
промывания мозгов*

Но просто так бросать это нельзя. Потому что советское время было временем колоссального упрощения языка, массового промывания мозгов. И понятно почему: то есть вот женщина хороша постольку, поскольку она похожа на мужика, и она может летать в космос, как Валентина Терешкова.

Так что я вам советую ни в коем случае не идти здесь ни на какие компромиссы.

Василий Жарков: Спасибо вам за эту отсылку ко временам конца 80-х — начала 90-х годов, когда у нас действительно произошла, скажем так, подмена: место идеологии занял здравый смысл.



Дженни Хольцер (Jenny Holzer). *SPEECH ITSELF*. 2022

Я, кстати, позволю себе напомнить, что одним из первых, кто на Съезде народных депутатов сказал, что у нас сейчас торжествует здравый смысл, что мы возвращаем его, был как раз муж Майи Плисецкой Родион Щедрин — композитор, который был депутатом этого съезда.

Но мой вопрос в этой связи следующий. Я понимаю, что, наверное, тебе, Гасан, как и мне, эта ситуация не очень нравится. Мой вопрос почти безумный: а мы можем сейчас говорить о возможности возвращения идеологии? И как это можно было бы сделать спустя 35 лет после того, как она вытеснена мифологией и действительно блокирует размышления о будущем и формирование образа будущего? Возможно ли вообще в нынешних условиях возвращение идеологии?

Г. Гусейнов: Я думаю, что никакое возвращение невозможно. Но вместе с тем без создания образа будущего, наверное, тоже невозможно существовать. Потому что опять-таки классическая риторика различает три основных вида: есть риторика хвалебная, которая существует вне времени: это, так сказать, тост или речь о достоинствах какого-то славного человека. Существует риторика судебная, которая разбирает прошлое: то, что случилось в прошлом. И существует риторика политическая, которая говорит о будущем. То есть политическая риторика сама по себе и является инструментом для построения картины будущего. Ораторы, которые выступают перед публикой на выборах, — это люди, которые предлагают публике свои картины будущего. Не обязательно они обещают, что это будет, но они свое видение будущего формулируют. Поэтому декларировать «Давайте создадим идеологию» не надо. Давайте создадим группу людей или присоединимся к группе, которая может сформулировать на понятном языке некоторые представления о будущем.

*Политическая риторика
сама по себе является
инструментом
для построения картины
будущего*

У меня плохой прогноз и для тех, кто сидит в этом зале, и для меня, и для всех нас. Прогноз состоит в том, что политическое будущее того, что возникнет на территории Российской Федерации или в пограничье Российской Федерации, Украины, Беларуси и так далее, будут определять другие люди.

Это отдельная, чрезвычайно болезненная тема. Тема принятия своей роли, своего политического или неполитического, так сказать, когнитивного участия в происходящем. Потому что одно дело — разбираться с тем, почему что-то произошло или происходит, и другое дело — строить картину, которая позволит кому-то ответить на вопрос: «Зачем этому происходить так, а не иначе?» Мне кажется, здесь это важно различить. То есть здесь нет одного «мы». Здесь одни «мы» — это люди, которые берут на себя ответственность за решение первого вопроса «Почему?», и совсем другие люди, которые решают «Зачем?».

Для меня, например, вопрос «Зачем?» вообще не стоит: он в таком тумане, в таком непонятном мире, что я даже боюсь о нем говорить. А вот вопрос «Почему так получилось, где пружины, которые привели к нынешнему состоянию?», то есть вопрос мифологический, он меня как раз интересует, и я готов об этом думать. Но, наверное, это поколенческое. Ведь я немолодой человек.

Татьяна Корченкова: Я бывший журналист, сейчас занимаюсь культурной антропологией. Вы говорили о дискурсе. В России сейчас существует подмена понятий, запрещено слово «война», используется «специальная военная операция», причем с помощью искусственного интеллекта там отслеживаются дискуссии в интернете по слову «война», и даже небезопасно ходить с томиком «Войны и мира» Толстого, можно получить административный штраф. Более того, я читала современные научные статьи в России — там пацифистская тематика уже рассматривается негативно, как ослабляющая государство, как вредная, чуть ли не как предательство.

Я понимаю, что Россия не хочет быть агрессором в глазах прежде всего собственных граждан. Но как вы прокомментируете эту ситуацию в дискурсе с подменой понятий?

Г. Гусейнов: Мне кажется, здесь основная цель тех, кто это делает, — сделать так, чтобы люди вовсе не высказывали никакого мнения: ни своего, ни другого. Чтобы они действовали по тому набору сигналов, которые им дают власти. Вот сказали это — они будут делать это, сказали так — они будут делать так. При этом что они думают на самом деле, не должно иметь значения. И в этом смысле основная линия, если угодно, дискурсивная линия властей — это линия на опустошение смысла как такового и представление истины как просто частного вида лжи.

Физически так и есть: когда мы спрашиваем о чем-то искусственный интеллект, он постоянно конфигурирует что-то на основании статисти-

*Основная линия властей —
это линия на опустошение
смысла и представление
истины как частного вида лжи*

стики, заведомо придумывая несуществующую реальность. Потом он готов извиниться за это. И случайно с этой ипостасью искусственного интеллекта так охотно ассоциируют себя власти. Они, на-

пример, готовы поручить искусственному интеллекту определять цены на какие-то продукты, и производители должны соответствовать тем ценам, которые установит искусственный интеллект, якобы «носитель объективной истины», каковым он не является.

Так же и с войной и СВО. СВО как аббревиатура, как словосочетание, как некое слово приобрело самостоятельное значение. А война не утратила своего значения, но стала опасным словом. То есть произошла подмена как бы здоровой клетки злокачественной клеткой.

Как только вы смиряетесь, принимаете эти условия — вы становитесь нежеланным собеседником для нормального человека, который войну называет войной. Вы обижаетесь на этого человека, потому что он не входит в ваше положение. Если вы снисходительно говорите: «Ну черт с тобой, говори это “СВО”, но здесь ты зачем говоришь? Ты приехал из Москвы, но только не говори свое “СВО”. Не надо это говорить, это неприлично!» А он тебе говорит, что он не может начать говорить «война», потому что тогда он забудется, приедет туда и там тоже начнет говорить «война». То есть человек поставлен в условия постоянного страха сказать что-то другое. А он такой и нужен этому режиму. Это чекистский режим, ему такой человек и нужен, таким человеком легче манипулировать. То есть объяснение, к сожалению, очень простое.

Удивительно, мы говорим о языке, о каких-то словесных формах — а в окружении этого человека, который послал их на убой, стоят однополовые люди, и никому из них не придет в голову взять свою железную ногу и ткнуть его, потому что это он виновник твоих мучений, твоего ранения, того, что ты теперь без ноги и твоих товарищей убили. А уж скольких вы там поубивали — я уже не говорю. Но он этого не делает, потому что у него отключено сознание. Как отключить сознание? Отключить смысл. Так что механизм очень продуманный.

Алексей Волошинов: Я независимый журналист. У меня вопрос, наверное, в продолжение предыдущего вопроса. Для меня во многом понятие «СВО», которое стало узуальным выражением в России (я вижу, что, даже находясь за границей, мои друзья его употребляют), и термин «полномасштабное вторжение» или «полномасштабная война» — синонимичны. Мне кажется, что это абсолютная «канцеляризация» очень понятного явления. Переход государственной границы танками, вооруженными силами мы почему-то называем полномасштабной войной. Мы не называем его просто войной. Но вопрос у меня чуть шире. Почему мы сегодня вообще уделяем такое внимание словам, почему у нас настолько горячие споры вокруг войны, СВО? Вот то, что вы говорили, что для кого-то совершенно неприемлемо разговаривать с человеком, который называет войну «СВО», взрыв — «хлопком», авиакатастрофу — «жесткой посадкой», много таких примеров. И это же я наблюдаю сейчас по реакции медиа на слова Дональда Трампа, практически любые — человека, который очень много говорит и очень мало делает. Почему мы стали настолько логоцентричны? Откуда такое внимание к слову?

Г. Гусейнов: Что касается «полномасштабного вторжения» — так говорят для того, чтобы подчеркнуть, что войной мы считаем и захват Крыма, и первое вторжение в Донбасс. Это одно из объяснений.

Теперь что касается общего вопроса: почему так много внимания, почему столько споров вокруг оттенков значений, вокруг слов? Вот как раз об этом я, собственно говоря, и старался сказать.

Когда у вас речь выполняет несколько основных функций — например, познавательную и управляющую, а не только коммуникативную и экспрессивную, — то вы сосредотачиваетесь и на тех значениях, которые лежат за пределами собственно сказанного слова. Вы готовы внутренне обсуждать с человеком, переспрашивая его: «Можно ли то, что ты сказал сейчас вот так, сказать по-другому? Не будешь ли ты возражать вот на такую интерпретацию?»

Когда происходит обмен эмоциональными суждениями, то не остается вот этого зазора на переспрашивание и на повторение другими словами той же мысли. Потому что сразу слова действуют как взрыватель для какого-то заряда. Заряд этот чисто эмоциональный: раз он сказал так, значит, он такой-то, и теперь я могу с ним спорить уже не о его слове, которое он употребил, а сразу переходить к сути дела.

Поэтому при таком преимущественно, так сказать, когнитивном обращении с языком в вашем распоряжении — синонимы, в вашем распоряжении — синтаксис, вы можете его менять, он может менять оттенки высказывания. А когда у вас эта когнитивная, познавательная функция подавлена (искусственно подавлена), то вам приходится держаться только за это сказанное слово, и вы на основании этого сказанного слова выносите свое суждение.

В свое время у нас был спор с Максимом Ковальским, который в «Коммерсанте» завел моду на остроумные, «взрывные» заголовки в статьях, которые совершенно не соответствовали содержанию, но привлекали внимание. Было знаменитое, очень популярное выражение «кто-то номер один»: «террорист номер один», «хлебопек номер один», «космонавт номер один». И вот они пишут о гибели Басаева, и статья называется «Террорист номер один». Вот такого рода остроумие возникает в тот момент, когда ты не можешь писать о своем предмете то, что ты хочешь написать. Хотя в то время была еще такая возможность, но это было уже время эмоционального, так сказать, пережима, массмедиа уже начали подстраиваться под эмоционально-коммуникативную ось в ущерб познавательно-кибернетической. Вернее, внутри этой кибернетической манипулятивная стала сильнее, чем кибернетическая.

Действительно, проблема, которую сейчас назвал Алексей, очень большая. Она обсуждается, и она приводит в конечном счете к большому обеднению политического языка. Я сейчас как раз на эту тему читаю книгу Джеральда Гарутти «Следите за словами: манифест искусства речи»²: как это происходит в западной журналистике. Там тоже существует совершенно та же проблема — может быть, в немножко менее выраженной форме, но существует.

И другое внешнее проявление того, о чем вы говорите, — это вымывание из средств массовой коммуникации сослагательного наклонения и господство изъявительного наклонения. Причем не только когда вы

цитируете кого-то, но и когда вы просто пересказываете что-то, в чем вы сами, может быть, не уверены, это не ваша мысль, а это некое предположение, но читатель не считывает этого предположения, потому что сослагательное наклонение перестало быть обязательной частью речевого опыта.

И такие движения к упрощению в условиях общего кризиса образования заставляют людей упрощать и то, что они могли бы представить во всей сложности. Это большой сюжет.

Модератор: Во-первых, огромное спасибо за это выступление. А второй момент — просто как идея. Слушая про значение слов, про вымыслы смыслов из этих слов, вспомнила проект, который вынашивал Юрий Петрович Сенокосов еще в 2007–2008 годах: проект гражданской энциклопедии. И тогда же Школой был издан «Новый общественно-политический словарь», переведенный с французского³. У Юрия Петровича была идея, что нужно какое-то подобное издание, где можно было бы в разных форматах подумать, поговорить, зафиксировать, как в русском языке приживаются понятия, связанные с гражданской жизнью, с политической сферой, правами человека, верховенством права и так далее. И действительно, это были такие серьезные обсуждения в экспертных кругах, но мы так и не нашли, как подступиться к этому проекту. И вот прошло 17 лет, и я сейчас хорошо понимаю, почему, когда Юрий Петрович об этом говорил, он постоянно повторял имя Гасана Гусейнова.

Может быть, стоит в каком-то формате вернуться к этому сейчас и обсудить это в наших группах, где люди из активистской среды, журналисты, представители науки? Может быть, какой-то мастер-класс или что-то подобное? И про само значение этих слов, как оно трансформируется в нашем сознании. И про то, о чем заговорил Василий Жарков, некий образ будущего: как мы его мыслим, в каких словах, в каких ценностях, понятиях.

Если вы, Гасан, вдруг согласитесь поработать с нами в каких-то форматах — было бы замечательно. Возможно, даже с этой группой.

¹ Тимофеев Б. Правильно ли мы говорим? Л.: Лениздат, 1961.

² Garutti G. Watch Your Words: A Manifesto for the Arts of Speech.

³ Новый общественно-политический словарь / Пер. с фр. М.: Московская школа политических исследований, 2008. 548 с.

Говорят, понять можно только то, что имеет смысл. Между тем то, что имеет смысл, мы уже знаем: мир, добро, свобода, дружба, любовь... Поэтому говорить о поиске смысла понимания едва ли стоит. Скорее речь должна идти о самом понимании или непонимании, учитывая очевидный кризис доверия в современном мире и те последствия, к которым это приводит.



Кирилл Кобрин,
писатель

Старые деньги и новая этика*

Я сидел у подножия лестницы, ведущей вверх, на выставку Хиросигэ. Лестница вьется вокруг белого круглого здания с зеленым куполом, который выходит наружу стеклянного купола больших размеров, знаменитого стеклянного купола Британского музея. Само белое круглое здание расположено в Большом дворе музея, получается такая архитектурная матрешка, одно в другом. Здесь до относительно недавнего времени был читальный зал Британской библиотеки, в нем самые разные люди читали книжки — правила записи были самые демократические. Среди читателей — великие революционеры своего времени: Маркс, Сильвия Панкхёрст, Хо Ши Мин, Вирджиния Вулф, Ленин, Махатма Ганди, Сунь Ятсен и другие. С одного бока читального зала — галерея Просвещения, где кураторы с помощью экспонатов попытались проиллюстрировать рассуждения Мишеля Фуко о системе западных представлений о мире, известной как Просвещение, или эпоха Просвещения. Другая лестница, обнимающая читальный зал, ведет на отличную выставку о Древней Индии. В Большом дворе за дверьми в другие залы начинаются Древний Вавилон и Ассирийское царство, Древняя Греция и Самоа, остров Пасхи, пустыни Австралии, весь мир.

* В российском интернет-издании Republic, в рубрике «Воскресная проповедь», писатель Кирилл Кобрин на примере основателя Британского музея сэра Ганса Слоуна объясняет, почему разговор между сторонниками и противниками культуры отмены невозможен в принципе: Republic.ru 17 августа 2025. <https://republic.ru/posts/116246>

Весь мир сюда и съехался поглазеть на себя же, но преображенного музеем: самые разные языки, лица, одежды. Мимо проходили толпы туристов, по лестнице поднимались вольноопределяющиеся любители старой японской графики, по лестнице напротив — публика несколько иного рода, слева от меня на ступеньках лестницы расположилась стайка тинейджериц, чьи мотивы наверняка отличались от оных у вышеперечисленных посетителей Британского музея. Я сидел, ждал опаздывающую спутницу и думал о том, сходятся ли разные резоны посетителей в один Большой Общий Резон.

Понятное дело, дальше предполагается рассуждение о Большом Западном Каноне, об империализме, постколониальных императивах и тотальной деколонизации. Автору достанется со всех сторон, а ничего внятного он не скажет, ибо испугается, как бы ему не досталось еще больше, по полной. Лучше бы автор ничего не говорил. Ведь ситуация безнадежна. Чего ни скажешь — все плохо.

*Для рассуждения
о невозможности разговора
Британский музей —
самое подходящее место*

Никакой разговор на эти темы невозможен. Автор это прекрасно понимает. Потому ниже последует рассуждение не о Большом Каноне и проч., а о невозможности разговора. Британский музей — самое подходящее для этого место.

Он был создан для просвещения публики в самый разгар эпохи Просвещения на базе частной коллекции, купленной парламентом. Коллекция принадлежала сэру Гансу Слоуну (1660–1753). Слоун прожил долгую жизнь при разных политических режимах и всегда преуспевал. Выходец из богатой семьи ольстерских помещиков, он избрал медицинскую карьеру, работал врачом при плантациях на Ямайке, неустанно собирал там образцы флоры, фауны, предметы быта местных жителей и невольников и даже их песни. Там же он и женился. На богатой владелице плантаций, конечно.

Вернувшись в Лондон, Слоун завел процветающую практику, покупал коллекции диких животных у друзей и других собирателей, участвовал в работе научного Королевского общества, потом, после смерти предыдущего председателя Исаака Ньютона, возглавил его, наконец отошел от дел, завещал продать свое собрание книг, манускриптов, артефактов, флоры, фауны и проч. нации (то есть парламенту) гораздо ниже своей цены. Условием был свободный доступ почтенной публики к этим сокровищам. Приобретенное легло в основу коллекции Британского музея и Музея естественной истории.

Несмотря на респектабельность и деньги, еще при жизни Слоуна ходили слухи о его медицинской некомпетентности, научном невежестве, странных сделках с другими коллекционерами. Ну что же, время было такое. Это сейчас все честные и компетентные. Слоун был не только рабовладельцем (на ямайских плантациях его жены трудились

невольники, вывезенные из Западной Африки), он наживался на работорговле, инвестируя в профильные коммерческие компании. Не забудем, что и его фамильное богатство, поместье и земли в Ольстере, было продуктом учиненного английской короной геноцида ирландцев. В 2020 году бюст Слоуна вынесли из галереи Просвещения Британского музея.

И вот здесь начинается разговор о невозможности разговора. Ведь что тут скажешь? Этот человек приложил немало усилий — прежде всего его хлопотами и интригами был создан музей. Без Слоуна музей в

Отменять человека, продолжая пользоваться наследием, которое он оставил для просвещения потомков, позорно

его существовавшем 170 лет виде немислим. Не забудем к тому же, что это одна из первых такого рода институций в мире. Сэр Ганс Слоун принес несомненную пользу человечеству, чего не ста-

нет отрицать даже самый крайний борец с западным колониализмом и великодержавным империализмом, ибо без просвещения и науки не было бы этой самой борьбы, которая ведется преимущественно в академическом и культурном мире. Но самое главное тут другое. Если исключительно по этическим соображениям отказывать Слоуну в посмертной благодарности за созданный им музей, то тогда следует выдерживать высокие моральные принципы и в остальных аспектах данной проблемы. А отменять человека, продолжая пользоваться наследием, которое он оставил специально для просвещения и усовершенствования нравов потомков, позорно. Неблагодарность — тяжкий грех, даже для борца за всеобщую справедливость.

Здесь мы видим две исключаяющие друг друга позиции. Каждая из них не просто настаивает на своей абсолютной правильности, она действительно совершенно верна. Первая. Слоун беззастенчиво купался в кровавых деньгах своей семьи, его совершенно не смущал факт обладания другими человеческими существами, плюс к этому, но это уже пустяки по сравнению с вышеперечисленным, кажется, он был скверный врач, сомнительный ученый и, вполне вероятно, немного жулик. Ньютон называл его злодеем и негодяем.

Живи Слоун сегодня, он был бы с Трампом и Джорданом Питерсоном, а не с Обамой и Джудит Батлер. Скорее закрывал бы музеи, а не открывал. По крайней мере, ставил бы под вопрос необходимость их существования (и особенно финансирования).

А вот другая позиция. В Британском музее мы видим воплощение всего самого лучшего в западном духе и западной цивилизации — героический порыв, ненасытную страсть к знанию, стремление понять и объяснить мир. В экспонатах Британского музея буквально отпечатаны эти вызывающие восхищение черты — этим они и важны, помимо их несомненной эстетической и исторической ценности. На Розеттском

камне высечена не просто благодарность давно уже мертвых жрецов давно уже забытому царю из Птолемеев — это скрижаль, которой должен поклоняться западный мир. Я не шучу. В Розеттском камне есть все — и история великих ученых и их благородного труда, и история западной науки, и история западного империализма, и... почти безмолвная история Оттоманской империи, египетских пашей, сословия мамлюков (куда набирали мальчиков-рабов, купленных на невольничьих рынках арабского мира), в конце концов, история египетских феллахов, о которых никто никогда не вспомнит, включая деколонизаторов. И все это известно нам, в том числе и автору этих строк, только благодаря традиции западной науки, Просвещения, которой бы не было без таких людей, как Слоун, и так далее и тому подобное.

В Розеттском камне есть все — и история великих ученых и их благородного труда, и история западной науки, и история западного империализма

Примирить эти точки зрения невозможно, невозможно даже поспорить, ибо спорить тут не о чем. И даже говорить тут не о чем. Отсутствует не просто предмет разговора, отсутствует само его пространство и инструменты — слова. Разговор невозможен, когда не существует консенсуса хотя бы по поводу самых элементарных понятий, которые в разговоре обычно используются. Казалось бы, мораль может стать таковым пространством, но нет, этика имеет природу историческую, культурную и социально-политическую. Обе стороны воображаемого разговора — самозванные моралисты, использующие чисто этический аргумент, однако у них нет общего этического поля. У них две разные морали.

Итак, разговор невозможен. Не помогает даже знаменитый аргумент о слезинке ребенка — да, тот самый удар ниже пояса. В случае Слоуна борец за справедливость скажет, что никакой прогресс, никакая наука и знание, никакой Розеттский камень не стоит слезы ирландского или дагомейского ребенка. И будет совершенно прав. На что поборник западного превосходства и «здорового смысла» (люди, исповедующие такие взгляды, довольно комично нажимают на «здравый смысл») укажет на тот не подлежащий отрицанию факт, что сама историко-культурная повестка, предполагающая ценность слезинки ребенка, немыслима без западной культуры, западного способа мышления и проч., которые и зиждутся на институтах, подобных основанному рабовладельцем Слоуном музею. Не подкопаешься.

Чтобы от переживаний о слезинке своего ребенка перепрыгнуть к слезинке ребенка вообще, нужна огромная культурная работа

Разговор невозможен. Не помогают даже указания на следующее обстоятельство: как и мораль оппонентов, слезинка ребенка имеет чисто историческое происхождение. Известно, что до относительно недавнего времени взрослые не очень-то замечали детей, особенно если речь идет о



Розеттский камень. 196 год до н. э.

низших классах. Чувствительность к детям, в первую очередь к их страданиям, ведет свое происхождение от западного среднего класса, буржуазии. Что, конечно, не отрицает существования материнской любви как проявления материнского инстинкта, но это все-таки о другом. Для того чтобы от переживаний о слезинке своего ребенка перепрыгнуть к слезинке другого ребенка, а потом и к слезинке ребенка вообще, нужна огромная культурная работа философов, писателей, музыкантов и, конечно, церкви, которая должна перейти от одних, обскурантистских, оснований к другим, как бы гуманистическим.

Социокультурные механизмы должны были так точно настроить баланс лицемерия и воображения, чтобы в вопросе о чужой слезинке первое не давало бы вволю разгуляться второму. Сострадание регулировалось сентиментальностью, душевная черствость — вдруг вступившей в свои права антропологической солидарностью. Эта работа совершалась в течение XIX века. Сегодняшний псевдоконсенсус по поводу недопустимости страданий детей как таковых — ее результат. Надо понимать,

что перед этим, да еще и в XIX веке, во многих частях света, включая частично Российскую империю, Соединенные Штаты и Бразилию, если и заботились о «слезинке», то почти исключительно своего ребенка или своих детей.

То, что мы с изумлением наблюдаем сегодня в общественном мнении России, Израиля, США, — это не какая-то дикость или, того пуще, «варварство», это прорыв предыдущего исторического отношения к «слезинке» сквозь современное, модерное.

Замечу, как это ни противно, что и тот и другой подход — в своем историческом праве. Но, слава богу, и мы пока не лишены собственного права индивидуально выбирать между этими отношениями к «слезинке». И то хлеб.

Так что «слезинка», увы, не аргумент. Разговор невозможен. Благонамеренные попытки свести оппонентов на «нейтральной» территории, не говоря уже о том, чтобы найти некое «общее пространство», смехотворны и заканчиваются ничем. Что это значит для нас, самых простых людей, пришедших поглазеть на диковинки в Британский музей? Кроме, конечно, того, что, придя туда послезавтра, мы можем не увидеть его на своем месте — он же тоже может исчезнуть, как и бюст сэра Ганса Слоуна из галереи Просвещения.

Прежде всего это значит, что ничто ничего не значит. Каждая вещь, каждая эмоция имеет смысл и значение только в определенной ситуации, не более того. За пределами своего контекста любая важная вещь — одно из мириад ничего не значащих событий, равнодушно предающихся броуновскому движению в бесконечности космоса. Все условно, и все подвержено волюнтаристскому изменению безо всяких на то оснований.

Нынешняя американская политика — превосходный тому пример. Что ни взбредет в голову вздорному старичку Трампу — все, в принципе, выполняется, более того, получает объяснение и оправдание.

На излете «эпохи западного Просвещения» мы оказались в мире, который невозможно ни просветить, ни понять. Разве что буддийский монах расскажет о бесчисленных дхармах в бесконечном пространстве, произвольно слагаемых сознанием в некие конфигурации.

Мысль о буддизме вернула меня назад в Британский музей. В самом деле, будд здесь выставлено немало. Спутница моя наконец пришла, и мы отправились смотреть выставку Хиросигэ. Уж его-то искусство способно даровать утешение в этом новом дивном мире. Сам Утагава Хиросигэ в 59 лет от мира удалился и стал буддийским монахом — для того, чтобы без помех завершить последнюю свою серию гравюр «Сто знаменитых видов Эдо». И ее я увидел сейчас в Британском музее.



Владислав Иноземцев,
доктор экономических
наук, сооснователь
и член Совета
Европейского центра
анализа и стратегий
(Никосия, Кипр)

Время переоценки старых догм

Война в Украине, которая имеет все шансы стать более длительной, чем Великая Отечественная (и, не дай бог, чем Вторая мировая), оказалась, вероятно, первым конфликтом не только того периода, который начался после завершения холодной войны, но и того, что наступил после окончания эпохи несомненного доминирования Запада, что и делает ее завершение весьма проблематичным. Запад сейчас утрачивает те возможности диктата, которыми он в той или иной мере обладал на протяжении более чем четырех столетий, и, оценивая причины такого положения вещей, стоит обратиться к давно дебатированной проблеме западного «универсализма» и возможности его применения в современных социально-политических условиях.

Я никогда не был сторонником этого дискурса, так как считал и считаю, что западная цивилизация представляется совершенно особым (я осознанно воздержусь от позитивной или негативной его оценки) сообществом, которое на протяжении многих столетий создавало ценности, правила и нормы, в наибольшей мере соответствующие его основам и нуждам его населения. Это сообщество, однако, с определенных пор стало распространять свою власть и влияние на остальной мир, что, с одной стороны, обуславливалось постулатами христианской религии, а с другой — облегчалось обретенными Западом технологическими и экономическими возможностями. Такое «головокружение от успехов», особенно отчетливо заметное на пике того, что исследователи называют «вестернизацией» — процесс насаждения политического доминирования Европы над остальным миром, — обусловило непреодолимое стремление отождествлять ценности Запада с «общечеловеческими», что, на мой взгляд, было большой ошибкой.

В некоторой мере можно утверждать, что европейцы попытались осознать это обстоятельство в середине XVII века, когда религиозные войны, ведшиеся, замечу, как раз за «чистоту принципов»,

уничтожили немалую часть жителей континента и привели его в глубокий упадок. Принцип суверенитета, утвержденный на заключительном этапе того эпохального конфликта, был хорошим выходом из возникшей ситуации. Будучи применим только к европейским народам, он в то же время оставлял им возможность жестоко завоевывать периферийные пространства и таким образом распространять свое господство на весь мир. Возникшие в конце XVIII столетия идеи Просвещения на первом этапе не противоречили этому принципу, хотя в самой Европе отрицалась, например, идея рабства, а бесправие жителей колоний по большей части никого не занимало.

Такое положение вещей могло поддерживаться только при соблюдении двух важнейших условий. С одной стороны, западный мир (точнее, Европа) должен был оставаться демографически избыточным регионом (каким и был с XV века), который мог постоянно «исторгать из себя» значительное число людей, населявших поселенческие колонии и державших под контролем военным образом захваченные территории. С другой стороны, значение территорий, на которых европейский «универсализм» не применялся, должно было оставаться преимущественно политическим, в то время как экономически метрополии сохраняли бы самодостаточность (первые же примеры обратного, продемонстрированные Испанией и Португалией, указали на то, что экономическая зависимость от периферии приводит к упадку метрополии). При соблюдении этих условий и на фоне того, что Запад мог не считаться с внешней угрозой, которая полностью исчезла (для него, по крайней мере) после поражения турецких армий под Веной в 1683 году и европеизации России в начале XVIII века, идеологически «универсализм» оставался удобной идеей, на деле успешно оправдывавшей доминантную позицию западного мира и обосновывавшей его исконное право наставлять остальную часть человечества «на путь истинный».

Следует также заметить, что все эти принципы никоим образом не отрицали возможности войн и конфликтов — они лишь ставили их в «гуманные» рамки, да и то в том случае, если жертвами с обеих сторон были европейцы (потери противника при Омдурмане не вызывали у европейцев того ужаса, какое сейчас провоцируют страдания «палестинского народа»). В результате гуманные принципы ведения войны были проигнорированы и в Европе — в годы Первой мировой войны зафиксированы первые прецеденты применения оружия массового поражения, а в годы Второй европейцы начали геноцид против еврейского народа, вполне подобный тому, который они не раз до этого устраивали

*Гуманные принципы
ведения войны были
в Европе проигнорированы —
в годы Первой мировой войны
зафиксированы первые
прецеденты применения
оружия массового поражения*

на «глобальной периферии». Все эти события вскоре стали поводом для глубокой саморефлексии и привели к новому этапу в развитии универсалистских подходов как главной «визитной карточки» Запада. Вскоре после Второй мировой войны были запрещены преступления геноцида, провозглашена Хартия прав человека и даже предприняты попытки увязать суверенные права государств с легитимностью и характером действий их правителей.

Самое удивительное в этой истории то, что все эти шаги были сделаны в предельно неподходящее время. Во-первых, в конце 1940-х годов мир оказался разделен на два противостоящих блока, каждый из которых мог не терпеть указаний другого, так как обладал достаточными для всеобщего гарантированного уничтожения ресурсами. Одного этого хватало для того, чтобы усомниться в универсальных принципах и перейти к поискам более релевантных доктрин, но подобного эффекта данная перемена не вызвала.

Во-вторых, с 1947 по 1961 год большая часть европейских заморских владений обрела независимость, что отмечается всеми, но на деле это

Начиная с рубежа 1960-х и 1970-х годов западный мир впервые оказался критически зависимым в экономическом плане от мировой периферии

было не так важно, как та специфика, которую обрели новые признанные на международном уровне государства. Я хотел бы напомнить универсалистам, что все страны, ранее провозглашавшие независимость от метрополий в рамках борьбы

за идеалы Просвещения, — от США до Бразилии — достигали минимальных успехов в борьбе за универсальные права (в частности, хотя бы отмены рабства) не ранее чем через 50–85 лет после того, как становились независимыми державами. Именно этот «встроенный не-универсализм», как бы парадоксально это ни звучало, позволил им развиваться по европейскому пути и стать тем, что Э. Мэддисон называл Western Offshoots. Постколониальный мир XX века сделал разрыв с Западом своей целью, а отрицание его ценностей — важной задачей, что стоило бы принять во внимание, но этого не случилось.

В-третьих, появление советского блока, деколонизация и распространение ядерного оружия — т.е. все те факторы, которые де-факто сделали политические претензии Запада крайне ограниченными, — случились в то время, когда в Европе произошла демографическая революция и население Запада практически прекратило расти естественным образом, что создало условия для иммиграции в основные бывшие метрополии (сначала с периферии Европы, прежде всего из Португалии или Югославии, а затем и из-за ее пределов). Растущая масса иммигрантов по канонам универсализма рассматривалась как часть европейских обществ, которой скоро перестала быть, так как получала все ей необходимое без нужды соблюдать универсальные обязанности в



Студенческий плакат «Трехконтинентальная Сорбонна — единство угнетенных народов». 1968

ходе реализации своих универсальных прав. И, наконец, в-четвертых, приблизительно в то же время — начиная с рубежа 1960-х и 1970-х годов — западный мир впервые оказался критически зависимым в экономическом плане от мировой периферии: сначала как импортер энергетических и иных природных ресурсов, а начиная с 1990-х — и индустриальной продукции, причем все более высокотехнологичной.

Сложно сказать, одумалась ли бы западная цивилизация при столкновении с новыми трендами, но в конце 1980-х годов случились события, которые сделали такой сценарий совершенно невозможным. С одной стороны, банкротство коммунизма и крах Советского Союза, которые самым непосредственным образом трактовались как торжество «общечеловеческих ценностей», несмотря на то, что любому непредвзятому наблюдателю должно было быть ясно: речь шла прежде

всего о восстановлении относительного единства европейской цивилизации образца XIX века. В Европу вернулись (или попытались вернуться) страны, которые были исключены из нее в ходе коммунистического эксперимента (не случайно одним из лозунгов «нового политического мышления» была «Европа от Лиссабона до Владивостока»), и не более того, что стало ясно уже в середине 1990-х, когда бывшие российские колонии быстрее или медленнее превратились в наследственные клептократические монархии. Между тем крах коммунизма был воспринят ни больше и ни меньше как «конец истории» и триумф универсализма, для чего не имелось никаких оснований. С другой стороны, в относительно

*Крах коммунизма
был воспринят ни больше
и ни меньше как «конец
истории» и триумф
универсализма*

короткий период с 1989 по 1997 год уложилась цепь событий, которые подорвали и другой страх Запада: масштабный экономический кризис обрушил сначала экономику Японии, а затем и многих стран Азии; необходимость экстренно спасать своих недавних конкурентов, похоже,

окончательно убедила Запад, что ситуация с его доминированием над миром приблизилась к временам конца XVII века, и началась та «глобализация», которая за тридцать лет привела к радикальным экономическим и социальным сдвигам, во многом сделав Запад подчиненным элементом в мировом порядке.

В данном контексте война в Украине выглядит событием, значение которого выходит очень далеко за тот привычный набор шаблонов, которым она обычно описывается. Да, конечно, это попытка восстановить то ли российскую имперскую архитектуру, то ли советскую зону влияния, но если бы Европа оставалась в рамках своих традиционных подходов, ничего вызывающего в политике В. Путина она бы не нашла: в XVII–XIX веках перекройка границ силой была в порядке вещей, причем и в самой Европе. Я уже писал много раз о том, что политики в современном Кремле — вполне европейцы, но европейцы XIX столетия, когда к их озабоченностям все готовы были бы прислушаться, а их поведение было бы естественно. Да, война в Украине может трактоваться как ответ на усиление враждебного блока и считаться превентивной войной, тем более что Украина на протяжении тридцати лет находилась в классическом положении *in between*, не примыкая ни к одному из соперничающих лагерей. И раздел сфер влияния также был для европейской «универсалистской» политики вполне привычным императивом, а поэтому Запад в принципе не должен был бы так удивляться происходящему. Особым этот конфликт делает лишь то, что современная Европа утратила большую часть тех навыков и тех способностей, которыми она хорошо владела и в эпоху Просвещения, и позже, — в частности, четко называть врага врагом и быстро объединяться в противостоянии ему.

Почему война до сих пор не остановлена? На мой взгляд, во многом потому, что Запад сегодня запутался в своих «универсалистских» схемах. Уже много десятилетий он занимается тем, что изучает «обиды», которые он сам причинил всему остальному миру. Мы все прекрасно знаем, сколько исторических травм нанесло европейское присутствие народам Северной Африки и Ближнего Востока. Но кто-то сегодня вспоминает про арабские армии, остановленные при Пуатье? Про эмираты на территории современной Испании? Про турецкую работорговлю в Средиземноморье? Про османское иго в Болгарии и Сербии? Это, разумеется, неполиткорректно, но проблема состоит в том, что обиды всегда взаимны. И корни войны в Украине уходят не только в советское воспитание питерского гопника, но и в неготовность Европы принять Украину в ЕС и НАТО одновременно с Польшей из-за нежелания «травмировать» исторические чувства Москвы. И в нежелание ввести радикальные экономические санкции в момент оккупации Крыма, который многие европейские политики считали и считают «по справедливости» российским, случайно переданным Украинской ССР в 1954 году.

Но есть и иные аспекты проблемы. Российские вооруженные силы (а во многом наемники и криминалитет под видом регулярной армии) перешли границу и стали убивать украинцев, что, конечно, недопустимо и ужасно. Но если сравнить их с палестинскими террористами, напавшими на Израиль, однозначность теряется, ведь прямая агрессия, насилия и убийства со стороны ХАМАС не препятствуют европейцам помогать этой группировке, а многим европейским политикам задумываться о признании Палестины как государства. И что в таком случае можно иметь против «государственности» ДНР и ЛНР? Наконец, против России стоило бы ввести «уничтожающие» санкции, но это во времена холодной войны CoCom (Координационный комитет по экспортному контролю) ограничивал торговлю не только с СССР, но и со странами ОВД и СЭВ как его союзниками, а сейчас мы не такие — и поэтому западные товары продолжают идти в Россию через Казахстан и Киргизию, а российское золото продаваться на мировых рынках под видом армянского, и Запад ничего с этим не делает. Ну а про торговлю с Китаем и ее ограничения из-за поддержки Пекином Москвы в Европе даже не хотят говорить, несмотря на давление со стороны США.

Европа и Запад в целом «зависли» между XIX и XXI веками в состоянии полного релятивизма. Никакие нормы международного права не препятствуют ведущим странам продать Украине любое оружие, за исключением ядерного, и ввести войска в Украину на основе тут же заключенного договора о дружбе и военной поддержке. Ответит ли В. Путин ядерным ударом? Это неизвестно, но в том, что от политического

*Обиды всегда взаимны.
И корни войны в Украине
уходят не только
в советское воспитание*

престижа Запада в случае продолжения его нынешнего соплежуйства не останется ничего, сомневаться не приходится. Россия своими действиями показывает Западу, что тот настолько запутался в своих озачеченностях и интересах, что стал практически недееспособным, и этот сигнал тут же считывается и осмелевшим Китаем, и колеблющейся Индией, и другими регионами мира. Самое же опасное заключается в том, что действия той же России воспринимаются частью западного сообщества именно в том контексте, в каком они и представляются В. Путиным, — как реализация несвоевременной повестки дня, как возвращение в прошлое, которое видится многим европейцам лучшим временем, чем сегодняшний день.

Да, в Европе XIX века были войны и переделы границ, но зато она владела колониями, которые сейчас хочет обрести Россия, и почему ей надо мешать? Да, во многих европейских странах не было современных демократий, но зато местные бюргеры не кормили миллионы мигрантов и видели на площадях своих городов крестные ходы, а не толпы молящихся магометан. Список может быть нескончаемым, но возникает главный вопрос: зачем беспокоиться о внешнем мире, если мы его не

*Европа и Запад в целом
«зависли» между
XIX и XXI веками
в состоянии полного
релятивизма*

контролируем? Конфликт между «цивилизацией» и «варварством», который во времена Просвещения проходил по вполне понятным линиям, сегодня переместился глубоко внутрь самого западного мира, парализовав его возможность к сопротивлению — исламскому ли терроризму, российской ли агрессии,

китайскому ли ревизионизму. Запад стал слишком зависим — идеологически, социально и экономически — от внешнего мира, чтобы быть ему арбитром.

Подводя некоторые итоги, я скажу: на мой взгляд, увлечение универсальными концептами, которые оказались в ходу в современном западном мире, явилось чудовищной ошибкой. Европейские принципы не универсальны и не должны распространяться на весь мир. Нет прав человека, за которые в наше время стоит бороться, — есть права гражданина, как то было обозначено еще в Декларации 1789-го, а не 1948 года. Люди не равны, и ценность их не одинакова — кто сомневается, пусть посмотрит на пропорции обмена израильских солдат на палестинских преступников. Глобализация — опасный тренд, продающий иллюзию благосостояния, ценой которой выступает экономическая деградация и передача важнейших технологий «мировым фабрикам» (совершенно, разумеется, случайно и неожиданно), начинающим использовать их для производства оружия, чей вид на недавнем пекинском параде парализовал западных аналитиков. Западу стоит об этом задуматься и начать действовать более системно и последовательно, исходя при этом прежде всего из своей исключительности, а не ущербности.



Дорис Сальседо (Doris Salcedo). *Вырванные в корнем*. 2022

Можно ли остановить опасные тренды? Я не уверен, но нынешняя международная обстановка как минимум дает для этого несколько «зацепок».

Во-первых, коллективному Западу сегодня выпали шансы побороться с внешними угрозами руками своих прокси — Украины и Израиля. Эти страны в борьбе за свое существование восстанавливают и утверждают те лучшие черты европейской цивилизации, которые ей очень нужны сегодня, и делают это в полном и справедливом осознании своей исключительности, а не от желания раствориться в едином и прекрасном «человейнике». Западу, на мой взгляд, нужно учиться у этих стран и выстраивать собственные «линии защиты» по их канонам, а не пытаться героизировать агрессоров или задушиваться о собственных комплексах вины.

*Европейские принципы
не универсальны и не должны
распространяться на весь мир*

Во-вторых, Западу нужно думать не столько о восстановлении призывных армий (до которых, на мой взгляд, дело не дойдет, да и вряд ли должно), сколько о восстановлении собственных экономик и превращении их в комплексные и самодостаточные хозяйственные системы. Я не утверждаю, что это единственный тренд, который сохранится на

десятилетия, но сегодня он выглядит самым рациональным, так как за потерей экономических позиций, несомненно, последует и политический упадок. У Запада есть технологические заделы и преимущества (достаточно посмотреть на то, в каком состоянии находятся те российские отрасли, которые ранее успешно развивались за счет западных инвестиций), и ими не нужно разбрасываться.

В-третьих, необходимо с максимальным вниманием отнестись к зависимости от критически важных ресурсов и сделать все для ее преодоления — к этому есть предпосылки и возможности: от развития возобновляемых источников энергии до использования ресурсного потенциала Северной Америки и Австралии. Борьба за ресурсы должна предполагать и возможность инкорпорирования в западные структуры

*Необходимо возродить
те черты и принципы,
которые создали
западный мир*

тех стран, которые богаты ими и в которых значительная часть общества позитивно настроена в отношении западного образа жизни и западных политических институтов.

В-четвертых, учитывая, что в XX веке западный мир выиграл историческое про-

тивостояние с коммунизмом, оформившимся как мировая система, в XXI веке нет более важной задачи, чем остановить инфильтрацию социалистических и квазикоммунистических идей в структуры самих западных обществ. Инфантильное отождествление справедливости с равенством должно быть преодолено; идеям нахлебничества, продвигаемым под видом защиты прав человека, нужно дать максимально возможный отпор. Необходимо возродить те черты и принципы, которые создали западный мир: культуру риска, ответственность перед сообществом, инновативность, открытость новым идеям и категорический отказ от самоуничтожения.

На мой взгляд, внешне успешная и процветающая западная цивилизация стоит на пороге сложных испытаний. Относительно случайно внешние атаки на нее произошли раньше, чем деструкция ее внутренних основ стала необратимой, и это оставляет место для надежды на лучшее, так как на протяжении истории неоднократно сообщества сплачивались в ответ на внешние вызовы. Однако если и в этой ситуации Запад продолжит искать компромиссы с «чистым» злом или его менее явными проявлениями, помочь ему будет уже невозможно...

**«Будущее открыто
не только в негативном,
но и в позитивном смысле»***



Томас Баггер

Как меняется наше восприятие мира, когда история вдруг перестает двигаться в предсказуемом направлении? Почему даже самые устойчивые универсальные ценности требуют переосмысления? Как получилось, что Германия, страна, где преодоление прошлого стало образцом, неожиданно сама оказалась неподготовленной к вызовам настоящего? О своем опыте осмысления европейской и глобальной трансформации на форуме Школы гражданского просвещения «В поисках утраченного универсализма» рассуждал немецкий дипломат, государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Германии (2023–2025) Томас Баггер.

Чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю, что наш опыт и позиция гораздо сильнее, чем мы думаем, ограничены нашим собственным жизненным путем и эпохой, в которой мы жили. Поэтому я постараюсь немного рассказать о немецком опыте, а вы уже сами решите, есть ли в этом что-то, что может быть полезным или поучительным для вас.

Название форума «В поисках утраченного универсализма» описывает почти личный немецкий опыт. Причина в том, что, на мой взгляд, события 1989 года — падение железного занавеса и объединение Германии — стали для всех нас дверью в триумф универсализма. До тех пор, пока он снова не был утрачен. Этот путь и уроки, которые мы из него извлекли, во многом запараллелились с моей собственной биографией как человека, родившегося в 1960-х. И когда я об этом размышляю, то понимаю, что 1989 год, когда я только что окончил университет, стал поворотным моментом в моей жизни. Он изменил мою страну, он изменил всю Европу. Но я не предвидел его наступления.

Вспоминая тот период, я думаю, что именно из-за того, что те перемены произошли столь мощно и внезапно, мы попали в ловушку ожиданий. Нам казалось, что после 1989 года буквально всё и все должны

* <https://sapere.online/budushhee-otkryto-ne-tolko-v-negativnom-no-i-v-pozitivnom-smysle/>

будут так или иначе двигаться в сторону нашей модели, руководствуясь нашим опытом. Мы считали, что как объединенная Германия мы достигли своей цели — парламентской демократии и социальной рыночной экономики — и теперь все остальные должны меняться и адаптироваться по отношению к нам.

Так мы, можно сказать, стали державой статус-кво. Мы превратились в нацию, которая считала, что у нас все идеально, а другим нужно нас догонять. Мы больше не пытались преодолеть свое страшное прошлое. Внезапно мы стали будущим. Страной в авангарде Европейского союза, а возможно, и всего мира: с подъемом торговли, с расширением глобализации, с полной интеграцией Китая в ВТО и с тем, что нам казалось нарастающей нерелевантностью военной силы.

Я вспоминаю себя, молодого дипломата в Министерстве иностранных дел Германии; мы даже не задумывались, когда писали докладные записки о «необратимом процессе европейской интеграции». Сегодня, читая это, я задаю себе вопрос: это было нормативное утверждение или аналитическое наблюдение? Тогда для нас это не имело значения. Мы верили, что все, что не должно случиться, — не случится. Таково было наше ощущение начала 1990-х, потому что это казалось историческим итогом: крах коммунизма, распад советского блока и объединение Германии. Мы верили, что справедливость, открытые общества и либеральные ценности будут определять внутренний строй государств и что сила как основа международной политики будет постепенно вытесняться международным правом и системой, основанной на правилах.

Когда я думаю о тех днях, мне всегда вспоминается учреждение Международного уголовного суда в 1998 году, в создание которого Германия вложила много дипломатических и интеллектуальных усилий и ресурсов. Возможно, это было отражением пика тех надежд, своего рода продолжение Нюрнбергского процесса. Тогда казалось, что международное право станет регулятором поведения государств и правительств в будущем.

Нам понадобилось много времени, чтобы понять, что, хотя исторические уроки Германии долгое время казались синхронизированными с мировыми событиями, на самом деле полной гармонии не было. Точка отсчета для сомнений может быть разной: 11 сентября 2001 года с его новыми вызовами международного терроризма; финансовый кризис 2008 года, когда весь мир думал, что Запад знает, что делает, пока все чуть не рухнуло; «арабская весна» 2011 года, которую мы в Германии и Европе воспринимали через призму 1989-го и потому с трудом понимали, как она могла перерасти в кровавый тупик, как произошло в Сирии. Или возвращение Путина в Кремль; или приход к власти Си Цзиньпина в 2012 году; или аннексия Крыма и война в Донбассе в 2014 году, что стало поворотным моментом для многих немцев в восприятии России; или Брекзит и победа Дональда Трампа в 2016 году. Мы слишком поздно

осознали, что это не продолжение старого тренда, что победа либеральной демократии, которую мы хотели видеть повсеместно, теперь оспаривается изнутри.

В общем, я думаю, что немцы — и я в том числе — имели склонность к чрезмерной универсализации нашего весьма специфического исторического опыта. Мы влюбились в мысль, что наша исключительность, наш уникальный исторический путь должны стать универсальной нормой. В результате нам сейчас трудно смириться с тем, что мир больше не соответствует нашим ожиданиям. И, конечно, особенно с возвращением крупной войны на европейский континент после нападения России на Украину в феврале 2022 года.

В более широком смысле будущее вновь оказалось куда более открытым и непредсказуемым, чем нам хотелось бы. Мы привыкли жить в удобном мире, где знали, что произойдет дальше, и где политика сводилась к тому, что я называю «управлением неизбежным», то есть тем, что должно было случиться в любом случае, и оставалось только дожидаться.

Со временем мы поняли, что все развивается совсем не так, как мы ожидали. Мы осознали это, но адаптировались к переменам слишком медленно. Многие годы мы пренебрегали необходимыми инвестициями в нашу собственную силу — военную мощь, устойчивость общества, защиту критической инфраструктуры, снижение рисков и зависимости. Сегодня именно эти темы доминируют в общественном и политическом дискурсе Германии.

Я рассказываю эту историю наших заблуждений не для того, чтобы попрощаться с универсальными идеями и ценностями. Для меня опыт последних примерно пятнадцати лет — и политический, и личный — это скорее призыв к большей скромности и большему любопытству. Больше скромности, потому что как люди и как участники общества и политики мы должны осознавать пределы своих возможностей. В конечном счете каждая страна и каждый народ сами ищут свой путь к модернизации, демократии и более открытому обществу. Мы не можем исправить все извне. Пределы либерального интервенционизма — это, я думаю, одна из причин политического поворота в США и разочарования в этой идее. Больше любопытства — для меня это призыв быть осторожнее с масштабными обобщениями. Мой опыт, полученный в результате путешествий по миру и работы в разных функциях и ролях, убедил меня: каждая страна и каждая культура уникальны, и каждая демократия тоже.

Совсем невинный, но запомнившийся мне пример — поездка вместе с президентом Германии, в которой я участвовал как советник по внешней политике, в Латинскую Америку. Я никогда раньше не бывал ни в Колумбии, ни в Эквадоре. Мне представлялось, что раз эти две страны — соседи, значит, наверняка очень похожи. Но когда начинаешь вникать глубже, видишь, насколько разные у них демократии. Колумбия — большая страна, Богота — крупный город: тесные связи с США, во многом



Сун Юань и Пен Ю (Sun Yuan & Peng Yu). Не могу себе помочь. 2016

американизированная культура, бурная политическая жизнь. А потом попадаешь в Эквадор — страну гораздо меньшего размера, с меньшим населением, но, главное, с 30-процентным коренным населением, что кардинально меняет партийную систему, дискурс, темы, которые обсуждаются. И, возвращаясь домой, понимаешь: никогда больше нельзя воспринимать их как нечто единое. Их нужно различать, уважать эти различия и пытаться извлечь из этого уроки. И признание этого, по моему мнению, вовсе не проявление культурного релятивизма. Это скорее осознание того, что именно в различиях мы лучше узнаем самих себя.

Как я уже говорил, сегодня во многих странах Запада, и уж точно в моей собственной, ощущается глубокое разочарование, чувство трансформации и неопределенности, которых мы не испытывали уже давно. Я всегда стараюсь предостерегать коллег от попадания в ловушку очередной линейной проекции. Долгое время мы думали, что поняли направление истории, которое приведет нас в лучшее будущее по прямой траектории. Но теперь, когда оказалось, что это не так, мы склонны переоценивать разочарования последних лет и поспешно объявлять авторитаризм победителем. Это было бы большой ошибкой. Мир не работает так. Мы в Германии, например, были уверены, что Владимир Путин не станет разрушать единственную работающую бизнес-модель России — экспорт углеводородов в Европу. Но именно это он и сделал. Подвело наше политическое воображение. Мы спроецировали на него собственную логику, свой экономический рационализм и не поняли, что он уже мыслит другими категориями — исторического величия, мифологии.

Но и российский президент совершил свои ошибки. Он стал жертвой собственной пропаганды, считая, что Украина — это просто марионетка, картонный домик, который рухнет от первого же толчка; что у нее нет собственной субъектности, а Запад, который, по его мнению, находится в упадке и погряз в потреблении, не окажет серьезного сопротивления — максимум недельный протест, после чего все вернется к привычному шопингу. Он недооценил волю украинцев самим определять свою судьбу. И он недооценил устойчивость нормативных основ Запада, которые считал лишь позерством. Иными словами, он спроецировал на нас собственный циничный взгляд на мир — и это ошибка, за которую сейчас платят все, но прежде всего украинский народ. А Россия в данный момент расплачивается собственным будущим.

Так куда же двигаться дальше? У меня есть три мысли.

Первая — не стоит недооценивать устойчивую силу стремлений. Универсальные ценности как нормативный ориентир все еще сохраняются. И, я надеюсь, сохраняются. Люди и дальше будут бороться за достоинство, порядочность, надежду, справедливость и свободу личности.

Вторая мысль — нам следует продолжать защищать разум. Он несовершенен, но это лучшая надежда на улучшение человеческого бытия на Земле. Это подтверждается многими объективными достижениями в мире. Хотя я понимаю, что разум сегодня подвергается вызовам со стороны усложняющегося мира, изменений в общественном дискурсе, иногда внешнего вмешательства, но, пожалуй, сильнее всего — со стороны технологий и стремительного роста искусственного интеллекта.

В период моего становления на меня произвела большое впечатление фраза американского политика Даниэла Патрика Мойнихэна: «Вы имеете право на собственное мнение, но не на собственные факты». Тридцать лет назад это звучало очевидно. Сегодня это уже гораздо менее определенное утверждение. И я считаю, было бы ошибкой игнорировать или принижать те нарастающие сомнения, которые возникают даже в наших собственных демократиях относительно будущего политических систем в наше время. Это касается не только США или Франции — сомнения есть и в Италии, и в Великобритании, и в Германии. Популизм — массовое явление. Он отражает широко распространенное беспокойство избирателей, на которое трудно найти простой ответ.

И наконец, третья мысль — это сохраняющаяся сила оптимизма. Оглядываясь назад, на последние 35 лет, я вижу это главным уроком 1989 года: надежда возможна даже в самых неблагоприятных условиях, а то, что казалось невыносимым, может действительно произойти. Будущее открыто не только в негативном, но и в позитивном смысле. И отдельные личности могут изменить ход истории, как показывает немецкий опыт. Многие из нас сегодня ищут правильный баланс между самокритикой, которую я считаю силой, и сомнением в себе, которое, наоборот, представляет собой парализующую слабость.

В Германии восемь недель назад сформировалось новое правительство. И оно сделало безопасность и оборону главным приоритетом. Это прямая реакция на российскую угрозу мирному порядку на европейском континенте, а также ответ на неопределенность будущего трансатлантического альянса. В каком-то смысле совокупность кризисов последних лет привела к переоценке приоритетов. В обществах вновь пробудилось нормативное ядро: кто мы есть, кем хотим быть, на чем действительно стоит сосредоточиться и что было лишь отвлечением в прежние годы. Все это сопровождается спорами в каждом отдельном обществе. И эти споры различны: в Литве или Польше, которые ближе к конфликту и географически, и эмоционально, — одни; в Италии, которая находится дальше, — другие.

Я считаю, что использование этой новой энергии в качестве нового импульса европейской интеграции — это главный политический вызов наших дней. И это касается как расширения ЕС — прежде всего в отношении Украины, Молдовы и стран Западных Балкан, — так и углубления самой интеграции. И именно это новое немецкое правительство определило как главный приоритет своей внешней политики. Второй приоритет — повышение конкурентоспособности европейской экономики, потому что мы осознаем: это одна из основ европейской субъектности в мире, все больше определяемой конкуренцией (и, возможно, конфронтацией) между США и Китаем. Это наш лучший ответ на попытки других стран навязать миру деление на так называемые сферы влияния.

Справится ли Европа с вызовами в эпоху стремительных технологических перемен? Точно сказать нельзя, но я верю, что это вполне возможно благодаря силе наших университетов, качеству образования, любознательности людей и той свободе, которую мы предоставляем размышлениям, открытиям и творчеству. Мы не должны ожидать, что лучшее будущее наступит неизбежно, из чего слишком долго исходили у нас в Германии. Но в то же время мы не имеем права отказываться от самой возможности такого будущего, включая освобождение тех, кто сегодня страдает под гнетом авторитарных режимов.

Один из моих любимых источников оптимизма — великий русский писатель Василий Гроссман и его выдающееся произведение «Жизнь и судьба», написанное, между прочим, в куда более мрачные времена, чем наши. В завершение я приведу его слова: «Природное стремление человека к свободе неистребимо, его можно подавить, но его нельзя уничтожить. Тоталитаризм не может отказаться от насилия. Отказавшись от насилия, тоталитаризм гибнет. Вечное, непрекращающееся, прямое или замаскированное, сверхнасилие есть основа тоталитаризма. Человек добровольно не откажется от свободы. В этом выводе свет нашего времени, свет будущего».

Уроки несостоявшегося транзита

Могут вернуться времена Средневековья, и на сверкающих крыльях науки может вернуться каменный век. И то, что сейчас может пролиться на человечество безмерными материальными благами, может привести к его полному уничтожению...

У. Черчилль. Из речи в Фултоне. 5 марта 1946 г.



Юрий Сенокосов,
главный редактор
журнала «Общая
тетрадь»

Мне хочется начать эту статью с длинной цитаты из выступления Клауса Оффе, известного немецкого политического социолога, на одном из семинаров Школы в 1994 году. Он сказал тогда следующее:

«Транзитология сейчас очень популярная дисциплина во многих североамериканских и западноевропейских университетах... И один из самых поразительных выводов, совершенно неожиданных, был сформулирован моим коллегой: “Не только восточноевропейские общества стали посткоммунистическими. Но и капитализм стал тоже посткоммунистическим”. Действительно, события, произошедшие с 1989 по 1991 год, были такого масштаба, что они окажут со временем воздействие на весь мировой политический порядок... Западное общество тоже в определенном смысле стало посткоммунистическим. Это совершенно новое явление в нашей жизни. Западное сообщество исходит из убеждения, что нам в рыночном обществе “лучше”. Лучше как с моральной, так и с экономической точки зрения. Теперь мы понимаем, насколько важную роль в нашей истории играл негативный пример, насколько важно было для нас осознавать, что мы лучше по сравнению с чем-то “худшим”, с другим порядком, который существовал рядом с нами. И теперь этот некто худший исчез со сцены. И для стран, объединенных ОЭСР, встала проблема: нужно быть не просто лучше, чем кто-либо, а нужно быть просто хорошими самими по себе. Мы этому никогда раньше не учились — быть

просто хорошими. Раньше для нас было достаточно быть лучше других. Это одна из проблем, которая возникла во внутренней организации западных обществ: потеря врага»¹.

Так думали и говорили 30 лет назад западные интеллектуалы. Однако сегодня уже очевидно, что процесс демократизации в России после ее вторжения в Украину закончился. Зло начинается с чувства мести — обиды и ненависти. Мстят, чтобы не чувствовать себя слабым, проигравшим, говорят психологи. И они правы, когда имеют в виду конкретного человека, а как объяснить и понять появление в XXI веке планетарного зла, развеявшего веру интеллектуалов в исчезновение «худшего со сцены»?

Современный научно-технический прогресс, обеспечивающий здоровый образ и продолжительность человеческой жизни, вновь вернул исчезнувшего «некто» и породил одновременно две нарастающие угро-

*Невозможно превратить
не только Россию, но
и любую другую страну
в демократическую
без свободной конкуренции*

зы человечеству — возможную вспышку ядерной войны и неизбежность экологической катастрофы. Поэтому стоит вернуться к обсуждению проблемы «потери врага», о которой упомянул Оффе, имея в виду распад Советского Союза в декабре 1991 года и последующие события, действительно ока-

завшие свое воздействие на мировой политический порядок. При этом Оффе дальновидно подчеркнул во время дискуссии, что невозможно импортировать и насадить экономическую политику в стране, не учитывая ее предшествующий исторический и культурный опыт. Так как когнитивные рамки результата будут непредсказуемыми, а возможно, и разочаровывающими и приводящими в отчаяние.

Я выделил бы две причины несостоявшегося транзита: отсутствие разумной свободной экономической и политической конкуренции и власть чувства.

Почему именно эти причины? Потому что невозможно — я согласен с Клаусом Оффе — превратить не только Россию, но и любую другую страну в демократическую без свободной конкуренции как в области экономики, так и политики. Например, разве могли бы появиться разделенная власть и независимый суд в Великобритании без накопленного тремя и более поколениями граждан соответствующего жизненного опыта? Конечно, нет. Потому что жизненный опыт извлекается иначе, в отличие от физического эксперимента. Он извлекается в условиях свободы на основе законодательства и права, а для физического эксперимента нужна соответствующая технологическая база и математика. Эксперимент ставят, а жизненный опыт извлекают.

И еще пример — создание в 1949 году Федеративной Республики Германия. И деятельность в этой стране главного архитектора «германского чуда» — первого министра экономики и второго канцлера ФРГ Людвиг

Эрхарда (1897–1977)², которому пришлось работать в условиях, когда государственное вмешательство в экономику было реальностью. Его концепция «социального рыночного хозяйства» — теоретическая основа для взвешенного решения принципиальных проблем социально-экономического устройства. Что может и чего не может государство? Чем оно должно и чем не должно заниматься? Что такое социальная справедливость и как она связана с экономической эффективностью? Самым важным для Эрхарда было сохранение хозяйственной свободы и финансовой стабильности. А главными врагами — централизм и инфляция.

«Стоило Людвигу Эрхарду, — вспоминал лидер ХСС Ф. Й. Штраус, — заговорить о своем любимом детище — рыночном хозяйстве, теме, занимавшей все его помыслы, как в нем просыпался блестящий оратор, увлекающий и заражающий энтузиазмом слушателей... Он владел искусством убеждать, вызывал доверие к себе, завоевывал сторонников...»³

Эрхард — творец секретов «экономического чуда», в которое поверила в послевоенное время Германия, а позднее поверили и российские реформаторы; оно включало в себя и другую веру в то, что «войн между демократиями не бывает». Так говорили тогда все сторонники мирного сосуществования. Как писал в начале 2000-х годов лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц, парадокс состоит в том, что «взгляды на экономику российских реформаторов были настолько неестественными, настолько идеологически искаженными, что они не сумели решить даже более узкую задачу увеличения темпов экономического роста. Вместо этого они добились экономического спада. Никакое переписывание истории этого не изменит»⁴.

Между тем именно названная выше вера позволила В. В. Путину в 2000 году занять место президента России, что стало возможно после ссоры олигархов⁵. А затем Б. Н. Ельцин выбрал путь, который остановил демократическое развитие России. Вместо того чтобы обеспечить свободные выборы, Ельцин посчитал своим правом и своей обязанностью назначить себе преемника. Он это сделал, а потом пожалел, но было уже поздно, как хорошо показано в документальном фильме Виталия Манского «Свидетели Путина». Вопрос: почему вера оборачивается местью и абсолютным злом? И еще вопрос — уже по поводу определения политики как искусства возможного: существуют ли у такого искусства границы?

Вернемся ко второй причине несостоявшегося транзита — к власти чувства.

По словам психологов, чувство — это высшая форма эмоционального отношения человека к миру, связанная с ценностями, верованиями и взглядами. И главное, оно является более длительным, а иногда и постоянным переживанием — любовь ли это, чувство свободы, ощущение абсолютной власти, ревность, ненависть, голод и т.д. Чувства выражают

особую значимость и важность для человека, сигнализируя о его потребностях и интересах. И когда наш ум и чувства работают слаженно, это приводит к осмысленной жизни. А их дисбаланс — потеря контроля и гнев — порождает негативные последствия для человеческих отношений. Особенно опасные, как мы видим это сегодня, в политике.

Как писал в своей книге «Политические очерки» французский политический философ Клод Лефор, только внимательно вглядываясь в

*Вместо того чтобы
обеспечить свободные
выборы, Ельцин посчитал
своим правом и своей
обязанностью назначить
себе преемника*

знаки нового и спрашивая себя, что происходит с формированием и развитием современной демократии, «мы имеем шанс изменить политическое, как другие смогли это сделать в прошлом»⁶.

Это правильные и точные слова, приближающие к пониманию смысла фразы Отто фон Бисмарка «Политика есть искусство

возможного», произнесенной в интервью газете St. Petersburgische Zeitung в августе 1867 года⁷. С помощью этой формулы можно оправдать, как оказалось, любую власть, любой способ правления. Например, Сталин, хорошо знакомый с работами Бисмарка, полагал, что цель оправдывает средства, и стремился, как известно, к максимальному усилению репрессивного аппарата своей личной власти. А Брежнев, призывая своих соратников по партии «не раскачивать лодку», был уверен, что именно в этом состоит искусство политики. Однако к чему она привела, тоже известно — к эпохе застоя. Так стали называть период, начиная с прихода Брежнева к власти (середина 1960-х годов) до начала перестройки (вторая половина 1980-х).

Таким образом, при всей привлекательности бисмарковской фразы, если в ней и есть какой-то смысл (а он в ней, безусловно, есть), стоит все же понимать, что значит «политика — искусство возможного». На первый взгляд, казалось бы, ясно, *искусство* — это мастерство, интуиция и даже хитрость. Если мы откроем «Словарь русского языка XI–XVII вв.» (вып. 6), то обнаружим, что это понятие образовалось от старославянского слова *искусъ* — испытание, опыт, искушение, соблазн. Испытывая страстное желание, человек понимал, что в этом состоянии перед лицом Бога важно контролировать себя. Отсюда и соответствующий синонимический ряд к слову *искушение*: проверка, знание, умение, опыт⁸.

Позднее эти исходные значения слова перешли в русском языке в область педагогики, а затем — уже при советской власти — искусство, как его определяли марксисты, стало одной из форм общественного сознания. Как, впрочем, и *наука* — другая форма общественного сознания, не утратившая в качестве понятия исходного значения и потому столь же эффективно использовавшаяся в СССР в целях коммунистической пропаганды. Если мы посмотрим в названный словарь (вып. 10), то увидим, что это понятие образовалось от слова *наукъ* — наставление, назидание, научение. Чему? Чтению и пониманию Библии.

Я говорю об этом, чтобы напомнить, что в европейской средневековой культуре сходное значение имело слово *схоластика* — церковная школьная дисциплина, опиравшаяся на авторитет богооткровенных истин. С появлением национальных языков слово *схоластика* было вытеснено, и появилось в том числе и такое латинское слово, как *scientia*, включающее в себя физический эксперимент и математические расчеты. А затем, когда стали размышлять о предпосылках собственно научного знания, возникла философия науки. То есть в Европе шла постоянная рефлексия как над опытом человеческой жизни в целом, так и относительно занятий человека наукой, искусством, религией, правом и их местом в истории. В русском же языке слово «наука» сохранилось, и внутренняя его форма отомстила, когда марксистская классовая идеология превратилась в Советском Союзе в единственно верное научное учение, поддерживая и поощряя коллективную эмоцию. А точнее, массово переживаемое и выходящее за всякие мыслимые пределы чувство верности марксизму-ленинизму, сопровождавшему уничтожение миллионов людей.

Вернемся снова к понятию политического искусства и попробуем все же определить его. Очевидно, что и после сказанного под искусством имеется в виду некий способ или навык собирания человеком себя во имя достижения какого-то мастерства и внутреннего порядка, чтобы мог появиться порядок внешний. И посмотрим на слово «возможного». Почему «искусство возможного»? Потому что формула подразумевает некую невозможность. Политика есть искусство возможного в условиях или ситуации невозможного. Смысловая нагрузка явно находится где-то здесь — в зависимости от того, как мы относимся к ситуации невозможного, как мы это понимаем. Тут и завязываются узлы человеческого взаимоотношения с политической реальностью, включая и нашу способность грамотного размышления о том, что такое политика и для чего она существует.

*Политика есть искусство
возможного в условиях
или ситуации
невозможного*

Следовательно, интересующая нас формула должна выглядеть так: политика — это искусство возможного в условиях невозможного, когда мы зашли в тупик (апорию) и ищем выход. Надо что-то делать, но что? Формула гласит: политика — искусство возможного. Возможного достижения согласия между властью и обществом? Между взаимоисключающими интересами? Поскольку речь идет о политике, я задаю именно эти вопросы. Что значит политика как искусство возможного в условиях сегодняшних не только российских реалий?

Говорят, добро есть добро, а зло есть зло и им никогда не сойтись. Но так ли это? Ведь ситуация невозможного неизбежно порождает в обществе, наряду со страхом неопределенности, мечтательное стремление к некоему идеалу. И по традиции, заложенной, в частности, церковным

«православным царством», у людей в России и сегодня существует представление о некоем идеальном общественном устройстве — справедливой власти, добре, то есть о том, что принято называть ценностями. Но как в таком случае определить эти ценности? Что такое ценность в контексте политики — с ее конкретными интересами и чувствами? Безусловно, отношение к идеалу. Не сам идеал, а именно *отношение*. Отношение к тому, что в действительности недостижимо, но полагается при этом существующим. Тут есть явный парадокс, противоречие. Как бы что-то не существует, но оно есть. Некая утопия — несуществующее место, о котором мечтают и в которое начинают верить, что оно может существовать. И в результате, как показывает исторический опыт, когда, мечтая (или веруя), люди начинают действовать, — чем это оборачивается? Социальной алхимией. Поскольку незаметно происходит подмена или превращение мечты и чувств в орудие действия. То есть в настоящую алхимическую смесь. Что и произошло в России в начале

*Чтобы не дать себя
обмануть и не попасть
на крючок идеала,
нам надо измениться
в мышлении*

XX века, когда люди в своей массе поверили в несуществующее место и появился человек, который повел их в это место. Ибо накопилась критическая масса желающих, готовых оправдать любые действия, любую политику искусства возможного. Так что, я думаю, это реальная проблема и сегодня: не забывать, что

между понятием (национальной идеи, суверенитета, правового государства и т.д.) и живой мыслью, свидетельствующей о реальности, есть некая невидимая грань, связанная в момент отношения к идеалу с актом рефлексии. Когда само отношение требует выяснения разумных оснований для действия.

Чтобы не дать себя обмануть, не попасть на крючок идеала и не вести себя перед ним, как кролик перед удавом, нам надо измениться в мышлении (не в мысли), учитывая, что все слова уже есть. А именно — не полагаться на уже существующую в культуре и якобы *разрешающую* форму выхода из кризиса. Потому что не только российская ситуация воспроизводит такую форму сегодня — силовую, эмоционально-психологическую, языковую, — упакованную в социальном теле, головах, логических связках, и на повторяющиеся ситуации люди реагируют чаще всего по привычке.

Следовательно, названная проблема подразумевает безусловный запрет на натурализацию идеальных, символических понятий, то есть таких, которые не указывают на какой-либо конкретный предмет и в которых нет эмпирического содержания. А если оно появляется, то предполагает соответствующую культуру понимания и интерпретации. Поэтому я настаиваю на адекватном прочтении формулы об искусстве возможного, так как в ней есть не только сугубо практическая сторона, но одновременно и философская, которая сегодняшними политиками,



Уолтер Лимо (Walter Lima). Спасение. 2024

предпочитающими иметь дело с технологиями, как правило, игнорируется. Причем и на Западе. Но при этом не стоит забывать, что на Западе не теоретизируют особенно о таких вещах, потому что общество прошло эпоху секуляризации. По аналогии: если человек продолжительное время тренировал свое тело, чтобы стать мастером, он может забыть о тренировках и полагаться на уже приобретенные навыки и умения. То есть, выражаясь фигурально, может без опеки, самостоятельно практиковать сложность жизни. В отличие от России с ее несостоявшимся транзитом.

¹ Оффе К. Транзитология: особенности переходного периода // Вестник Московской школы политических исследований. Sapere Aude. М., 1995. № 1. С. 21–22.

² См.: Зарицкий Б. Е. Людвиг Эрхард: секреты «экономического чуда». М.: БЕК, 1997.

³ Штраус Ф. Й. Воспоминания. М.: Международные отношения, 1991.

⁴ Стиглиц Дж. Разрушение России / Пер. ИноСМИ. Архивная копия от 29 января 2009 г. на Wayback Machine // The Guardian. 09.04.2003.

⁵ См.: Жегулев И. Ход царем: тайная борьба за власть и влияние в современной России. От Ельцина до Путина. М.: Говард Рорк, 2022.

⁶ Лефор К. Политические очерки (XIX–XX века) / Пер. с фр. Е. А. Самарской. М.: РОССПЭН, 2000.

⁷ В публичных выступлениях Бисмарка встречается и такое выражение: «Политика не точная наука, которой могли бы научить нас господа наставники, — это искусство возможного». См.: Бисмарк О. Мысли и воспоминания / Пер. с нем. под ред. А. С. Ерусалимского. М.: ОГИЗ, 1940. Т. I. С. XXVI.

⁸ См.: Сенокосов Ю. Власть как проблема. Опыт философского рассмотрения. М.: Московская школа политических исследований, 2005. С. 32–48.



Андрей Колесников,
обозреватель *newtimes.ru*
и «Новой газеты»
(Москва)

Единственный европеец. Почему философ Мераб Мамардашвили не эмигрировал из СССР*

Очевидцы рассказывают, как однажды на галечный пляж черноморского побережья Кавказа за какой-то надобностью прибыл академик Евгений Максимович Примаков в костюме, галстук и со свитой. Надобность эта состояла в том, чтобы о чем-то поговорить с Мерабом Константиновичем Мамардашвили. Философ в этот момент, посасывая свою знаменитую трубку, то ли кантиански, то ли картезиански о чем-то размышлял, лежа в плавках на полотенце и глядя в морскую даль. Примаков, говорили свидетели, горячо начал рассказывать Мамардашвили что-то важное. Вынув трубку изо рта, философ произнес своим известным всей интеллигенции страны мягким баритоном: «Женя, разденься».

Пожалуй, это один из лучших подлинно философских советов в мировом культурном наследии. Он многозначен и полисемантичен. Здесь и призыв быть проще, естественнее, соответствовать своему месту в мире, смирять гордыню ради познания сути вещей. А также одеваться по погоде. Ну и в призыве раздеться видится философский подход — очищение сути от шелухи повседневности. Кстати, «суть» Мамардашвили упоминал, объясняя Луи Альтюссеру, почему он не эмигрирует из СССР, будучи абсолютно европейским философом с европейской моделью повседневного поведения (за это Мерабу, стильно и модно одевавшемуся, досталось в «Зияющих высотах» от Александра Зиновьева): «Я остаюсь, поскольку именно здесь можно видеть обнаженную суть вещей».

* <https://mostmedia.org/ru/posts/edinstvennyi-evropec-pochemu-filosof-merab-mamardashvili-ne-emigriroval-iz-sssr>

Европейская ответственность

У мыслителя была возможность не столько эмиграции, сколько полуэмиграции. После того как он без санкции начальства провел два месяца в Париже, ему на долгие годы, до 1988-го, закрыли выезд из страны. А он эмигрировал во французский и итальянский языки, переехал в Тбилиси, в квартал Ваке, на проспект Чавчавадзе, 24, где жила его сестра Иза. Здесь, в комнате с видом на тбилисский дворик, он жил, временами наведываясь в Москву.

Но и тут он не обрел покоя и отстраненности от суеты, и здесь в новые времена его ждал конфликт. «Истина выше нации. Мераб Мамардашвили» — с таким транспарантом на улицу перед грузинским парламентом вышла группа студентов осенью 1988 года. Такой глубины не знали транспаранты, в том числе в мае 1968 года в Париже. Зато такую глубину знала русская философская публицистика — в лице Петра Чаадаева.

В том же 1988-м последний европеец русской (грузинской? советской?) философии оказался в Париже на международном симпозиуме «О культурной идентичности Европы». Его выступление, в 1991-м опубликованное на русском языке в «Литературной газете», называлось «Европейская ответственность». Человек, по Мамардашвили, — это лишь возможность стать человеком. Для сохранения человека в человеке нужны постоянные усилия. Так и со свободой в философии Мамардашвили: чтобы сохранить свободу, нужно ее все время практиковать; чтобы не утратить качества гражданина, нужно каждый день утверждать гражданское общество, эмансипированное от государства. Так и с культурой: чтобы не провалиться в варварство, надо «практиковать сложность и разнообразие жизни». «Я подчеркиваю слово “практиковать”, — продолжает Мераб, — ибо культура — это не знания».

*Чтобы не утратить
качества гражданина,
нужно каждый день
утверждать гражданское
общество*

Так и с Европой: чтобы остаться ею, нужно прилагать усилия, нельзя расслабляться. Спустя год Френсис Фукуяма объявит о конце истории, и Европа расслабится. А история — вернется. Мамардашвили предупреждал: «То, что происходит сегодня, сходно по своей природе с тем, что предъявили нам Первая и Вторая мировые войны; мы в той же точке, где были порождены эти катастрофы, в недрах европейской культуры; перед нами все та же опасность и та же ответственность».

Мамардашвили напомнил о тех временах, когда Европа перестала быть самой собой, чем и воспользовался Гитлер. Это очень похоже на некоторые мрачные мысли героев романа Романа Гари «Европейское воспитание», который рассказывает о Соппротивлении в годы Второй мировой: «В Европе самые старые соборы, самые старые и прославленные

университеты, самые большие библиотеки, там получают самое лучшее образование... Но в конечном счете все это хваленое европейское воспитание учит только тому, как найти в себе смелость и веские, убедительные доводы для того, чтобы

*Ускользание от усилия –
это отказ от ответственности.*

*Ответственности Европы за
европейскость, демократии –
за свободу человека*

убить человека».

Ускользание от усилия — это отказ от ответственности. Ответственности Европы за европейскость, демократии — за свободу человека, человека — за то, чтобы

оставаться человеком. Это тоже Мамардашвили: «Человек ведь — существо фантастической косности и упрямой хитрости. Он готов на все, лишь бы не привести себя в движение и не поставить себя под вопрос». Так возможный человек не становится человеком, так рождаются тоталитарные режимы — при попустительстве человека и нежелании практиковать свободу, требующую все того же усилия.

Усилие во времени

Был ли Мамардашвили услышан? Едва ли, хотя интерес к СССР в те годы был огромный, захлебывающийся, а он слыл главным философом страны. Его точно слышали внутри страны, где до своей перестроечной славы он стоял не в самиздате, но в магнитиздате где-то между Владимиром Высоцким и Александром Галичем. Это было не просто неподцензурное знание, а внецензурное размышление. Грузинский Сократ на русском языке разворачивал перед слушателем картину рефлексии.

Мой друг, весьма любознательный и продвинутый молодой (в те годы) человек, признался спустя годы, что, слушая на магнитофоне Мамардашвили, засыпал. Мерный баритон, что-то умное, но не до конца понятное... Потому так важна была роль Юрия Петровича Сенокосова, расшифровывавшего лекции Мераба Константиновича. Мысли Мамардашвили важно было видеть глазами. В виде букв. Так проще было думать. В печатном виде устная мысль философа выглядела как письменная.

Философ Эрих Соловьев писал: «Мамардашвили обязан России своим европейски значимым своеобразием. Уникальная стилистика и философская символика, которые он предъявил миру, могли родиться только в обществе тотальной власти и тотальной умственной подвластности». Его стремление к европейскости, абсолютная внутренняя свобода и, вообще говоря, бесстрашие, за которое он все время расплачивался наказаниями от властей, проявлялись во всем. Даже, что называется, в быту.

Иосиф Бродский в «Набережной неисцелимых» увековечил ни в чем не повинного Мераба: венецианка, которой добивался будущий нобелевский лауреат, «в результате спуталась с высокооплачиваемым



недоумком армянских кровей на периферии нашего круга». Здесь все — ревнивая неправда. Включая круг, которого не было: когда Мариолина де Дзулиани, а это была она, та самая славистка из «Набережной», «увлажнявшая сны женатого человека», оказалась в Москве одна, то все рекомендованные итальянисты шаркались от нее, опасаясь КГБ. Мерабу было все равно, он здорово ей помог. А романа между ними не было. В интервью годы спустя Мариолина отрезала: «Он был самой интересной личностью среди тех, с кем я познакомилась, в отличие от Бродского. <...> Мераб был просто гениальный человек! Конечно, он тоже был бабник, но при этом очень умен».

Мамардашвили практиковал свободу. Свободу прежде всего внутреннюю — в несвободном обществе

Мамардашвили практиковал свободу. Свободу прежде всего внутреннюю — в несвободном обществе. Когда пали «внешние оковы», выяснилось, что у советского человека, вроде бы превращавшегося в постсоветского, обнаружились «внутренние оковы и деформации». Это и сдетонировало годы спустя, сегодня.

Мамардашвили ушел в 60 лет. Всего в 60, хотя казался старцем, мудрецом. Изнутри сегодняшней катастрофы мнится, что ушел вовремя, потому что он сам, его образ, его философия соответствовали поздней советской эпохе, когда культура, выглядевшая полуподпольной-полуоткрытой, оказалась невероятно продуктивной. Но возможной только в тех обстоятельствах. Притом что именно мышления мамардашвилиевского склада сейчас не хватает. Но он, отсутствуя здесь три с половиной десятилетия, все уже давно разъяснил: «Демократия означает... разделение государства и общества... Государство — орган общества, не больше».



Джорджо де Кирико (Giorgio de Chirico). Награда прорицателя. 1913

Последняя лекция Мамардашвили — «Вена на заре XX века», Музей изобразительных искусств в Москве, октябрь 1990 года. И снова об усилии: «Сама жизнь может быть определена как *усилие во времени. Усилие оставаться живым*».

Спустя месяц он уже не оставался живым. Ночевал у своих ближайших друзей, в легендарной квартире на Кутузовском, где собиралась вся московская интеллигенция, — у Юрия Сенокосова и Лены Немировской. В маленькой комнате, слева от входной двери, на диване, который так и стоял там до того момента, как Юрий Петрович и Лена были вынуждены эмигрировать. В накопителе Внукова умер. Усилий, совершенных им, было достаточно, чтобы считать его наследие предупреждением следующим поколениям. Опыт Мамардашвили — опыт внутренней свободы. Столь важный сейчас.

Политика — это искусство сохранения жизней

У просвещения всегда было много вызовов. Согласно Канту, люди жили в век Просвещения, но никогда не жили в просвещенном веке. Позже общество уже называло себя просвещенным, но именно в этом обществе расцвел абсолютизм, а затем случились две мировые войны, в которых обвиняли и просвещение тоже. В частности, в поствоенной «Диалектике Просвещения» Т. Адорно и М. Хоркхаймера, под Просвещением понимался «тотальный обман масс». А еще раньше Гегель назвал толпу не чем иным, как результатом просвещения. В то время как Кант считал просвещение выходом из состояния незрелости, а его девизом — самостоятельность мышления. Понимали ли авторы этого заочного спора под просвещением одно и то же?

Сегодня человек получает образование не только в школах и университетах, но и у себя дома и в дороге, при этом уже десятилетие мы живем с такими понятиями, как «постправда» и fake news, которые, по версии издательства Оксфордского университета, даже стали словами 2017 года. А наиболее употребляемым в 2024-м оказалось новое выражение brain rot, выражающее обеспокоенность последствиями чрезмерного потребления низкокачественного онлайн-контента. Несмотря на то что спрос на просвещение кажется огромным, как никогда прежде, и люди впервые живут в условиях непрерывного образования, порой создается впечатление, что мы попали в век затемнения. Ведь в мире прямо сейчас происходит около ста вооруженных конфликтов и войн разной степени интенсивности, которые порождают пропаганду и контрпропаганду, самоцензуру, подполье, возводящих между людьми ограничения и стены — антиподы просвещения.



Светлана Шмелева,
выпускница Школы

С появлением чата GPT фейки стали практически неотличимы от достоверной информации, столько он «выдумал» и самопроизвел «источников». Эксперт Школы Кристофер Коукер в одной из своих лекций рассказывал, что при внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в банковские системы один из английских банков обнаружил, что ИИ периодически нарочно совершает ошибки. Это было удивительно! Ведь ИИ не может ошибаться в простейших математических задачах. Однако оказалось, что тот, изучая работу предыдущих банковских управля-

*В основе «Темного
просвещения» лежит
отрицание либерализма
и демократии
как наивных*

ющих, установил: все они ошибались время от времени. И без спроса внедрил ошибки в свою работу. Сегодня известно, что чат GPT и другие чат-боты склонны ко лжи и все тщательнее обучаются скрывать ее от человека. Люди же, считая ИИ своим надежным инструментом, не перепроверяя и не думая са-

мостоятельно, выпускают лживые доклады и статьи. Фильм «Апгрейд» 2018 года очень красочно показал, как ИИ может сделать инструмент из человека, изначально своего родоначальника.

Можно считать это пустой фобией перед очередным великим изобретением. Однако, не споря с величием изобретений как таковых, важно помнить, как многие из них действительно неоднократно оборачивались против человека. Как, к примеру, изобретение пачификом Альфредом Нобелем динамита для горной добычи ископаемых в промышленных целях. Но в реальности динамит стал ассоциироваться исключительно с оружием и использоваться против самого человека. В результате этого потрясения от собственного изобретения Нобель придумал Нобелевскую премию, и премию мира в частности, чтобы остаться в памяти не только «миллионером на крови». Задним числом его изначальная радость по поводу изобретения динамита для прогресса кажется наивной. Но ведь и ядерная бомба была создана, чтобы останавливать войны, а не инициировать их. А потом возникло Пагуошское движение ученых, неспособное ликвидировать собственное изобретение, но, к слову, позже получившее Нобелевскую премию мира «за многолетние усилия по запрещению ядерного оружия». И к тому, и к другому привело просвещение. Как будто, подобно политике, просвещение может порождать разные плоды. Кстати, у нынешних трендов, включая ИИ, тоже есть название, включающее слово «просвещение».

В двухтысячные годы философ Ник Ланд из Великобритании и предприниматель из США немецкого происхождения Питер Тиль ввели в культурный оборот термин «Темное просвещение»¹, опубликовав соответствующий манифест. В основе «Темного просвещения» лежит отрицание либерализма и демократии как наивных. Вместо этого предлагается авторитарный технологический капитализм или авторитарный корпоративный монархизм, где технологии и капитал подменяют собой

государственные и общественные институты. «Темные просветители» считают, что человек устарел и управлять всем должен сверхчеловек, для которого эмоции и мораль — ненужные качества. В идеале это машина.

Манифест пестрит научным расизмом и идеями интеллектуального превосходства одних над другими, выступает против всеобщего голосования и предлагает иерархию вместо равенства. Править должны «лучшие представители человечества», «правильные элиты», а не «массы». Демократия — не власть институтов для свободы каждого индивида, а власть толпы, где 51% может лишить 49% всего. Авторы возмущает госбюджет для людей с ограниченными возможностями. Они против поддержки всех незащищенных групп и называют себя, «ориентированных на производительность», их жертвами: «Благосостояние не является всеобщим, это то, что заработали я и мое потомство». Словом, выживать должен сильнейший. Универсализм — «паразитическая традиция». Толерантность «некорректна к реальности». Правозащитники — «уровнителы» и «фанатики», «мало связанные с выводами логики». На меньшинства не надо обращать никакого внимания, а мигранты — «хищники». «Уничтожение белой расы» и то, что она «загрязняется», вызывает беспокойство: «Почему евреям можно следить за чистотой крови, а нам нет?», «У белых нет права на такое же».

Речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», в которой он провозгласил свое видение будущего, когда белокожие и чернокожие люди имеют равные гражданские права, манифест называет «расовой слепотой». Ведь сейчас, когда все «равны», по-прежнему существует разница и в образовании, и в преступности. Причина несвободы людей с другим цветом кожи не в этом, а «политкорректность игнорирует неприглядную реальность». Все это называется «расовым реализмом» и «суровой правдой жизни». «Темные просветители» не считают белый национализм опасным только потому, что был Гитлер: «Это все равно что сказать: социализм опасен, т.к. опасен Сталин». Обобщая, они выступают против всего, что провозгласила Французская революция: свободы, равенства, братства. ЕС считают «клоакой» (это цитата) и мечтают об «автономии экономик».

Приведу еще ряд цитат:

«Массы всегда тупы и ленивы».

«Напористый мультикультурализм».

«Ненависть — это праведный гнев».

«Чрезмерное гостеприимство».

«Равенство — миф».

«Позитивные права человека — это претензии на ресурсы других».

«Просвещенная зомби-толерантность».

«Проигравшая оппозиция заслуживает если не смерти, то доедать объедки за стервятниками».

Пожалуй, остановлюсь на этом. Кому не хватило, может прочесть манифест целиком, тянущий по количеству знаков на многотомник, но в нем вы не найдете словосочетания «гражданское общество». Манифест пронизан антигуманизмом и является полной противоположностью проекту «вечного мира» Канта о том, как можно было бы жить вместе. И это не просто конфликт между понятиями «просвещение» и «темное просвещение».

Отделять политическую сферу от этической до «темных просветителей» предлагали неофашисты и неонацисты, затем новые правые, технократы и «эффективные менеджеры». Те, кто полагал, что рынок сам

*Манифест пронизан
антигуманизмом
и является полной
противоположностью
проекту «вечного мира»
Канта*

по себе все устроит. Те, кто восхищался реформой в Сингапуре, невзирая на смертную казнь и пожизненное заключение за преступления легкой тяжести. Те, кто ведет сделки с Китаем, не задумываясь о геноциде уйгуров и изгнании монахов из Тибета. Все, кому кажется, что бизнес может существовать в отрыве от всего остального и ни с чем не взаимосвя-

зан, это «просто бизнес», это «рационально». Как, к примеру, происходило во время первого, второго, третьего (технически — Медведева) и четвертого президентских сроков Владимира Путина, когда были уже и политические заключенные, и убийства оппонентов, и аннексия Крыма. Теперь эти торговые отношения подвергнуты санкциям, но, правда, это никак не коснулось других автократов и диктаторов, т.е. санкции были спровоцированы скорее конъюнктурой, чем этикой.

Авторы «Темного просвещения» в 2024 году открыто поддержали Дональда Трампа. И это была взаимная публичная симпатия. Буквально в августе 2025 года президент Трамп в духе их манифеста хвастался тем, что теперь ноль мигрантов смогут найти пристанище в США, а Вашингтон будет населен исключительно «цивилизованным обществом». Он действительно гордится своими антимигрантскими программами в стране, построенной мигрантами.

Можно послушать и речь Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Многие эксперты и аналитики расценили ее как объявление «идеологической войны» и начало «культурного противостояния» с европейскими союзниками. В прессе ее назвали «тараном, разрушающим десятилетия сложившегося статус-кво». Корреспонденту Financial Times некоторые чиновники заявили, что настроение в зале было точно таким же, как во время выступления Путина в 2007 году, когда он объявил о новом баллотировании на пост президента. Эксперт Школы Михаил Минаков назвал это «конфликтом двух просвещений»².

Хотя новая Европа была построена на центральной идее, что войн с ее участием больше быть не должно, сегодня и она вооружается. Не так давно министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль позитивно



Энтони Гормли (Antony Gormley). Слепой свет. 2007

отреагировал на предложение Трампа, а также генсека НАТО Марка Рютте о повышении военных расходов до 5% ВВП и призвал к этому немецкое правительство (сейчас около 2%). Вместе с ним федеральный канцлер Фридрих Мерц сообщил, что хочет усилить бундесвер, сделав его «сильнейшей конвенциональной армией в Европе». Да и другие европейские страны ставят перед собой амбициозные цели в данной сфере. Польша уже тратит больше 4% от ВВП на развитие армии, хотя еще 10 лет назад было меньше 2%. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что военный бюджет Франции к 2027 году должен быть увеличен вдвое по сравнению с тем временем, когда он только вступал в должность, и, по его же словам, необходимо «сделать оборону приоритетом». Цель поднять военные расходы поставила перед собой и Великобритания. За последние 10 лет военные расходы увеличились в два-три раза в Венгрии, Дании, Латвии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Словакии, Чехии, Швеции, Эстонии³.

Согласно последнему отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира⁴ в 2024 году, Европа, включая Россию, стала регионом мира с самым высоким приростом военных расходов: они увеличились на 17% и впервые превысили уровень пика холодной войны. Сейчас часто можно слышать фразу: «Карфаген должен быть разрушен». Но это пример решения проблемы как раз в духе

*Авторы «Темного
просвещения»
в 2024 году открыто
поддержали Дональда
Трампа*

«Темного просвещения». Карфаген, как известно, был сровнен с землей, буквально разрушен до основания. Может быть, он этого и заслуживал. Но надо понимать, что вместе с Карфагеном были уничтожены и жизни всех его 500 тысяч жителей. Большая часть была просто убита, а оставшиеся (всего 50 тысяч) отданы в рабство. По меркам того времени это было крупнейшим местом агломерации на Земле. Как если бы сегодня несколько десятков миллионов потеряли жизнь в один момент.

В 1943 году, во время Второй мировой войны, под бомбами, Джордж Оруэлл в серии своих статей *As I Please*⁵, следуя логике решения по Карфагену, с сарказмом спрашивал: «Как лучше всего уничтожить семьдесят миллионов немцев? Крысиным ядом? Мы, возможно, вспомним об этом, когда лозунг “Заставим Германию платить” станет призывом». Сегодня вряд ли многие выберут смерть, зная, как пересобралась Германия. Но можно этот вопрос актуализировать, заменив немцев палестинцами, от имени которых ХАМАС совершил теракт 7 октября 2023 года, или Россией, четвертый год закидывающей бомбами Украину. Заслуживают ли они карфагенского мира и смерти, включая младенцев?

Профессор Ноам Хомский как-то сказал: если мы не верим в свободу слова для людей, которых мы презираем, то мы не верим в нее вообще. То же самое можно сказать про ценность жизни как таковой и Другого. Нетрудно догадаться, что ответят на это «темные просветители». Одно дело — прогресс для жизни клеща, другое — собаки. Так написано в их манифесте.

Власть может быть репрессивной силой, а может быть производящей и сохраняющей «политикой жизни», как в концепции Мишеля Фуко о биополитике. Политика может убивать, а может быть искусством сохранения жизней. Линия фронта проходит не по государственным границам, а между решениями, приводящими к жизни и смерти.

¹ <https://www.thedarkenlightenment.com/the-dark-enlightenment-by-nick-land/>

² Общая тетрадь. Вестник гражданского просвещения. 2025. № 2 (97). <https://biblio.school/pub/obshhaya-tetrad-2-97-2025/>

³ <https://www.dw.com/ru/evropa-perevooruzatsa-kto-lidiruet-i-skolko-eto-stoit/a-72607231>

⁴ <https://www.sipri.org/media/press-release/2025/unprecedented-rise-global-military-expenditure-european-and-middle-east-spending-surges>

⁵ <https://telelib.com/authors/O/OrwellGeorge/essay/tribune/AsIPlease19431224.html>

Совесть как инструмент сопротивления

История Фридриха Шпее не очень известна в России и может показаться далекой, поскольку он жил почти четыреста лет назад*. Будучи немецким священником, Шпее исповедовал женщин, обвиняемых в колдовстве; кроме того, он уговаривал их сознаться в «злодеяниях» до пыток. Однако в какой-то момент он задумался: а вдруг показания, данные под пытками, не являются истинными? Шпее посвятил этим размышлениям трактат «Предостережение обвинителей» (Cautio Criminalis), опубликованный в 1631 году; считается, что в том числе с этого документа начинается история современных прав человека. Шпее не оспаривал существования ведьм, тем не менее он был очень обеспокоен тем, что невинные люди подвергаются пыткам и казням наряду с «настоящими ведьмами». Он утверждал, что некоторые виновные должны быть освобождены, лишь бы случайно не осудить невинных. Также Шпее говорил о том, что предполагаемой ведьме должны быть предоставлены адвокат и юридическая защита, а тяжесть преступления делает это право еще более важным, чем обычно. Что пытками нельзя добиться истины, поскольку те, кто желает прекратить свои страдания, могут остановить их как правдой, так и ложью, т.е. невинные могут признаться в совершении преступлений под пытками.

Шпее был особенно обеспокоен случаями, когда человек был подвергнут пыткам и принужден к выдаче «сообщников», которых затем также пытали и заставляли выдавать «других сообщников», пока все подряд не оказывались под подозрением: «Многие люди, так активно натравливающие инквизицию



Анна Кулешова,
кандидат
социологических наук

* Фридрих Шпее фон Лангенфельд (Friedrich Spee; 1591–1635) — немецкий священник-иезуит, преподаватель и автор религиозных гимнов, получивший известность как противник ведовских процессов.

против колдунов в своих городах и селах, не знают, не замечают и не предвидят, что как только они начинают требовать пыток, каждому истязаемому приходится выдать еще нескольких. Процессы будут продолжаться, так что в конце концов доносы неизбежно достигнут их самих и их семьи, поскольку, как я уже предупредил выше, конца не будет, пока не сожгут всех».

Поразительно, но если мы внимательно посмотрим вокруг, то увидим, что происходящее в России, Иране, Афганистане и многих других странах очень напоминает времена Шпее.

Современная Россия строит архитектуру манипулятивного террора, очень похожую по структуре на ту, которая была во времена охоты на ведьм. Тогда, как и сейчас, власть опиралась не только на страх, но и на вымышленные рассказы о тайных врагах. В XVII веке это были «ведьмины круги», «невидимые пакты с дьяволом» или «оккультные сети», которые якобы подрывали порядок. В России XXI века эту роль берут на себя «иностранные агенты», «экстремисты» или «предатели», которые, согласно официальной пропаганде, устраивают глобальный заговор против страны.

Такие теории заговора выполняют двойную функцию: они оправдывают юридические и полицейские репрессии как якобы «самооборону» государства и создают замкнутую картину мира, в которой любая кри-

*Современная Россия
строит архитектуру
манипулятивного террора,
очень похожую на времена
охоты на ведьм*

тика автоматически становится частью «вражеского плана». Тот, кто задает вопросы, рассматривается не как обеспокоенный гражданин, а как инструмент невидимого, вездесущего заговора. Эта логика делает диалог невозможным и превращает политику в постоянную оборонительную

борьбу против воображаемых «сетей зла». Как и в Германии XVII века, речь идет не о защите общества, а о его дисциплинировании через страх. И как тогда, сегодня есть люди, которые имеют мужество сопротивляться, делая совесть формой социополитического сопротивления.

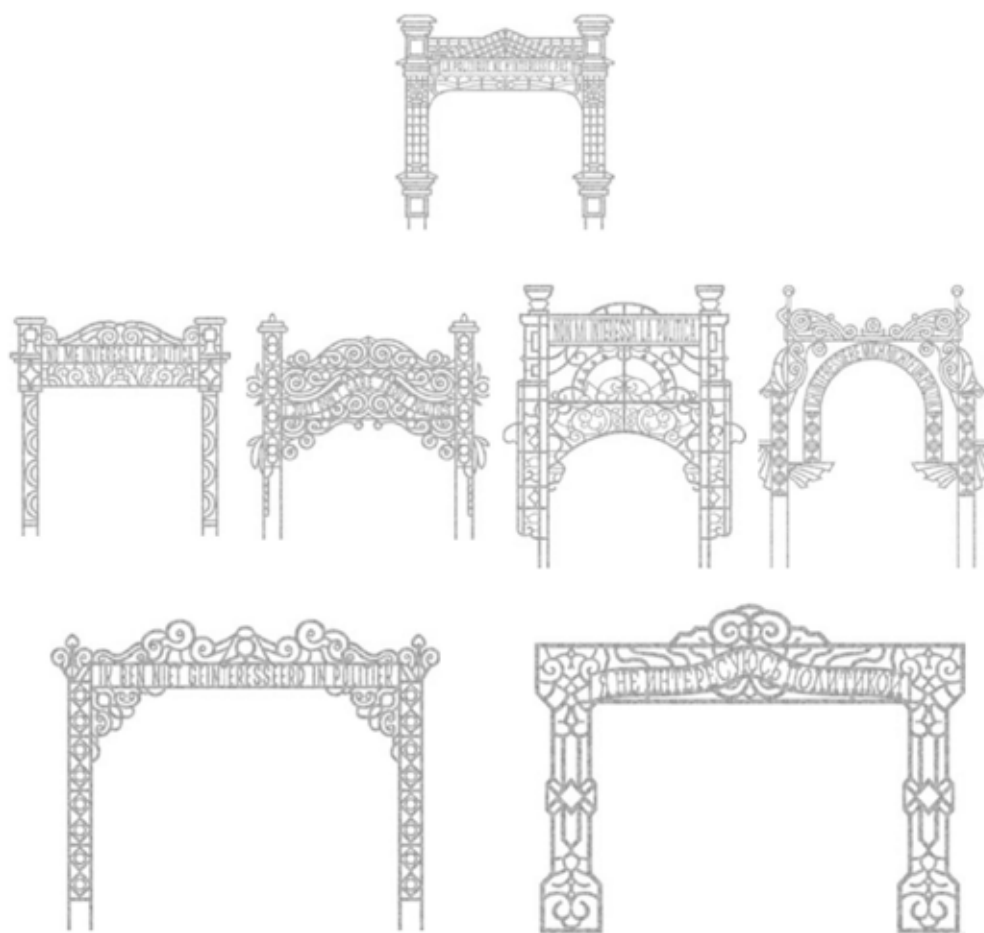
В отличие от открытого террора, манипулятивный террор маскирует насилие под защиту, а обвинение — под справедливость. Он действует в рамках правовых норм: суды, указы, протоколы. Именно это делает его таким опасным. Так, например, судебный процесс Алексея Навального был назван «антикоррупционным», в то время как уголовные дела против учителей в России ведутся под предлогом противодействия «реабилитации нацизма», а преследование журналистов представляется как «борьба с государственной изменой». В таких условиях невозможно отделить ложь от формы — сама форма становится частью репрессий. Это бюрократия без совести. Государство перестает быть гарантом справедливости и вместо этого становится ареной страха.

Тысячи политических заключенных в России и Беларуси являются живым доказательством того, насколько диктатуры отвергают моральную автономию. В авторитарных режимах, где публичная мораль присваивается государством, акты совести, какими бы малыми они ни были, неизбежно становятся политическими. Примерами являются учителя, которые отказываются повторять государственную пропаганду; депутаты, журналисты и правозащитники, которые настаивают на фактах, такие как Алексей Горинов, Алексей Навальный и Олег Орлов. Совесть нарушает перформативную закрытость авторитарных идеологий. Быстро становится ясно не только то, что важно называть вещи своими именами, но и то, что очень немногие готовы или способны это делать.

Шпее, вероятно, был не первым и не единственным, кто заметил, что с процессами ведьм «что-то не так». Но мог ли он молчать, пока человеческая совесть буквально предавалась огню? Мог ли молчать Алексей Горинов, приговоренный к семи годам лишения свободы и отбывающий их в жестоких условиях? Во время своего процесса он открыто осудил российское вторжение в Украину. Он сказал: «Я в этом убежден, война — самое быстрое средство расчеловечивания. Когда стирается грань между добром и злом. Это всегда смерть, я это не приемлю и отторгаю. Этому учило меня наше прошлое. И, наверное, не только меня. Я полагаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. Однако наше настоящее — это Буча, Ирпень, Гостомель. Вам говорят что-то эти имена? Вам, обвинение! Поинтересуйтесь и не говорите потом, что ничего не знали. Пять месяцев Россия ведет военные действия, стыдливо называя их специальной операцией. Нам обещают победу и славу. Отчего же тогда немалая часть моих сограждан испытывают стыд и вину? Почему у нашей страны появилось столько недругов? Может быть, с нами что-то не так? Давайте это обсудим. Собственно, я это и сделал на заседании совета депутатов. И был поддержан большинством присутствовавших. И теперь я в суде».

Современные авторитарные системы больше полагаются не на открытое насилие, а на регулируемые, нормализованные репрессии — как во времена судов над ведьмами. Судебные процессы, политические заявления и медийные сообщения создают бюрократическую экологию страха. Это то, что Ханна Арендт назвала «банальностью зла»: репрессии без страсти, жестокость через административную работу. Шпее понял эту динамику за века до этого — он обвинял не палачей, а писцов и чиновников, которые поддерживали инфраструктуру зла. Сопротивление Шпее не прекратило охоту на ведьм в одночасье, но оно изменило

*Тысячи политзаключенных
в России и Беларуси являются
доказательством того,
насколько диктатуры
отвергают моральную
автономию*





Елизавета Никуличева. Экстремист. 2025

условия дебатов. Точно так же свидетельства из сегодняшней России — будь то публичные или частные — являются не только актами протеста, но и вкладом в будущее страны.

Возвращение Алексея Навального в Россию после лечения в Германии от отравления было, по сути, путешествием ради одной фразы: «Я не боюсь — и вы не бойтесь». Это утверждение стало не только частью его биографии, но и этическим событием. Как и Шпее, он продемонстрировал, что совесть представляет собой моральную угрозу для любой системы, основанной на лжи. Можно сказать, что совесть — это политическая категория, которая находится вне партий. Это то,

*Современные авторитарные
системы полагаются не
на открытое насилие,
а на регулируемые,
нормализованные репрессии*

что связывает Навального, Тихановского и сотни тысяч политических заключенных по всему миру с деятелем XVII века, — они все убеждены, что молчание перед лицом террора означает соучастие. Совесть — это решение, которое часто принимается в одиночку. Это отказ соучаствовать во лжи, даже если молчание кажется более безопасным. В России и Беларуси сегодня это означает: не подписывать «коллективные письма поддержки» войны, не участвовать в мобилизационных и пропагандистских кампаниях, сохранять право на сомнение — там, где сомнение запрещено. Как и столетия назад, русские, белорусы и многие другие снова должны бороться за пространства справедливости и думать о том, как создать условия, в которых справедливость будет целесообразной.



Зелимхан Яхиханов,
выпускник Школы
гражданского просвещения

Границы вины

Семьдесят пять лет назад в послевоенной Европе, где еще пахло гарью концлагерей и свежей краской новых границ, собрались люди, решившие создать документ, который поставит человеческое достоинство выше интересов государств.

Исторический контекст

Этим документом стала Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод — свод правовых и нравственных норм, в котором заложили моральный фундамент послевоенной Европы. Она была подписана 4 ноября 1950 года в Риме двенадцатью странами — членами Совета Европы и вступила в силу в 1953 году, став первым юридически обязательным актом, закрепившим права и свободы человека на всем европейском континенте.

Дух Конвенции, можно сказать, вырос из другого великого текста — Всеобщей декларации прав человека¹, принятой двумя годами ранее. Французский юрист Рене Кассен, один из архитекторов Декларации, в своей Нобелевской лекции подчеркивал: «Декларация основана на убеждении, что все люди равны в достоинстве и правах и между ними не должно проводиться различий»².

Эта идея о равенстве человеческого достоинства легла в основу не только Декларации, но и всей последующей европейской правовой системы, включая Конвенцию. Она начиналась со слов, в которых сосредоточен опыт катастрофы XX века: человек не должен быть средством — он цель. Государство обязано защищать его права, а не определять их меру. Из ЕКПЧ выросли и реальные механизмы защиты прав — Европейский суд по правам человека, учрежденный в 1959 году, и институты национальных омбудсменов, появившиеся во многих странах Европы по ее образцу. Эти структуры сделали идею защиты прав человека практической: впервые в истории гражданин получил возможность обратиться не к государству, а против государства — к наднациональному суду, если исчерпал все внутренние средства правовой защиты.

Так Конвенция перестала быть декларацией и стала живым инструментом — системой, где человеческое достоинство подкреплено не только моральным, но и юридическим весом.

Цена человеческого достоинства

Права человека часто кажутся отвлеченной темой — чем-то, что существует в залах ООН, судах и университетах. Но они начинаются с самого простого: с момента, когда кому-то говорят: «Ты не имеешь права». На слово, на движение, на выбор, на существование без ярлыка. Вокруг этих мелких отказов возникает атмосфера, в которой человек перестает быть личностью и становится объектом регулирования. Там, где право теряет универсальность, оно превращается в инструмент. И тогда это вопрос уже не юридический, а нравственный: кем мы позволяем себе считать другого человека?

Элеонора Рузвельт в 1958 году на-поминала: «Где, в конце концов, начинаются универсальные права человека? В маленьких местах, рядом с домом. <...> Без действий граждан, направленных на защиту своих прав там, где они живут, прогресса не будет нигде в мире»³. Эта фраза переводит разговор из дипломатических залов в повседневность: права существуют только тогда, когда человек ощущает их в собственном доме, на улице, в школе, в отношениях с властью.

*Впервые в истории гражданин
получил возможность
обратиться не к государству,
а против государства —
к наднациональному суду*

Европа и ее зеркало

Сегодня, спустя три четверти века после принятия ЕКПЧ, именно та Европа, что создала ее как защиту от произвола, снова сталкивается с соблазном исключений.

На смену тем войнам пришли новые войны и новые страхи: миграционные, культурные, политические. Но суть остается прежней: происхождение человека делает его подозрительным. Под лозунгами «безопасности» и «общественного порядка» принимаются решения, в которых проглядывает старая и тревожная логика: вина не доказана — она предполагается. Коллективная ответственность возвращается в новом облике — через формулировки, в которых паспорт подменяет личность.

Как напоминает преамбула Всеобщей декларации прав человека, «признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира». Этот принцип, в котором достоинство ставится выше страха, был заложен в основу европейской правовой цивилизации. Конвенция в этом смысле не просто документ, а зеркало, в котором Европа видит, насколько остается верной себе.

Право как совесть

Важно помнить: права человека — не дары и не жесты великодушия. Это обязанность государств и ответственность каждого. Пока мы видим в них только элемент политики, а не прежде всего проявление совести, они будут уязвимы. Юридические нормы не спасают от зла, если в обществе притупляется чувство меры и сострадания.

*Юридические нормы
не спасают от зла, если
в обществе притупляется
чувство меры и сострадания*

Поэтому права человека должны оставаться не буквой, а внутренним рефлексом цивилизации. Монтескье не без оснований говорил: «Свобода есть право делать все, что дозволено законами»⁴. Это краткое определение

остаётся идеальной формулой справедливости: закон должен защищать человека, а не оправдывать его унижение.

Испытание временем

Конвенции исполнилось 75 лет — возраст зрелости и осмысления. Мир снова стоит перед выбором: защищать права или оправдывать их ограничение «особыми обстоятельствами». С каждым новым кризисом этот выбор становится труднее, но его суть не меняется. Исторический документ напоминает: пытки, унижения, произвол, суд без права на защиту — все это не ошибки, а признаки возвращения в прошлое.

Конрад Аденауэр, обращаясь к парламенту в первые годы существования Федеративной Республики Германия, подчеркивал, что мир должен строиться на справедливости и уважении человеческого достоинства. Эта формула стала смысловой опорой послевоенной Европы и нашла отражение в статье 1 Основного закона Германии, где прямо сказано: «...немецкий народ признает неприкосновенные и неотчуждаемые права человека в качестве основы всякого человеческого сообщества, мира и справедливости во всем мире»⁵.

Ответственность за свободу

Мы привыкли считать права гарантией, но забываем, что они требуют усилий. Огромных и каждодневных. Свобода не дается навсегда — ее поддерживает выбор каждого поколения. Если люди перестают замечать несправедливость, она становится нормой. Каждый новый запрет, каждое «исключение из правил» медленно, но верно откусывает кусок человеческого достоинства. Так рушатся системы, выстроенные на уважении к личности, — не одним приказом, а тысячами равнодуший.

Память против страха

Когда читаешь статьи ЕКПЧ сегодня, они звучат как предупреждение: все катастрофы начинаются там, где страх становится политикой. Поэтому сохранить дух Конвенции — значит не позволить страху диктовать, кто достоин прав, а кто нет. Это не идеализм, но трезвое понимание: без равенства перед законом не существует справедливости.

В мире, где снова строят стены и чертят линии между «своими» и «чужими», миссия Конвенции остается прежней: напоминать, что право — последняя граница, за которой начинается достоинство. И пока оно живет в сознании, а не только в статьях, у человечества еще есть шанс не повторить старых ошибок.

Голос изнутри

Я бываю в Европе — на конференциях, в поездках, на улицах, где еще чувствуется дыхание истории, породившей Конвенцию. И каждый раз думаю о простом: я не хочу быть здесь чужим. Не хочу, чтобы мой паспорт делал меня подозрительным. Не хочу, чтобы происхождение решало, достоин ли я доверия. Я хочу, чтобы эта земля оставалась местом свободы для всех, кто ценит уважение, труд, достоинство. Чтобы принципы, рожденные на руинах войны, не превращались в формальность, а продолжали влиять на отношение к человеку, независимо от его национальности, вероисповедания или гражданства.

*Все катастрофы
начинаются там,
где страх становится
политикой*

¹ Всеобщая декларация прав человека. Преамбула. 10 декабря 1948 г. (Universal Declaration of Human Rights).

² Кассен Р. Нобелевская лекция. 11 декабря 1968 г. (Cassin R. Nobel Lecture).

³ Рузвельт Э. В ваших руках: руководство для действий к десятилетию Всеобщей декларации прав человека. ООН. 1958 (Roosevelt E. In Your Hands. UN. 1958).

⁴ Монтескьё Ш. Л. де. О духе законов. 1748 г. Кн. XI (Montesquieu C. L. de. De l'esprit des lois).

⁵ Аденауэр К. Речь о ратификации Основного закона. Бонн, 12 мая 1949 г.; Основной закон Федеративной Республики Германия. Ст. 1 (2) (Adenauer K. Speech on the Ratification of the Basic Law; Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland).



Анатолий Михайлов,
доктор философских
наук, член Европейской
академии наук, искусств
и литературы

Образование и наше время*

В последнее время я стараюсь избегать участия в публичных мероприятиях, не отзываюсь на предложения давать интервью. Вполне естественно также, что я не имею отношения к «Инстаграму», «Фейсбуку» или другим социальным сетям. Я отдаю себе отчет в последствиях такого решения в эпоху, когда постоянно растет количество тех, кто предпочитает воспринимать себя в модальности необходимости «присутствия в сети», и, кажется, ответ на гамлетовский вопрос «To be, or not to be?», экзистенциальный по своему характеру, звучит теперь как «To be connected, or not to be?». В одной из своих последних статей я попытался найти обозначение этому глобальному феномену, все более определяющему контуры нашей социальной реальности, — tik-talkativeness¹.

При этом я понимаю, что тем самым уже само мое появление сегодня перед вами в известной степени может показаться странным, поскольку при всем изобилии «говорения» пришло время, когда нам всем следует вспомнить о том внимании, которое такие мыслители XX века, как Людвиг Витгенштейн и Мартин Хайдеггер, уделяли феномену молчания. При этом, как отмечал еще Сёрен Кьеркегор, подлинное молчание обладает уникальной по своему характеру коммуникативной силой, имеющей прямое отношение к нравственности².

И все же сегодня я стою перед вами. Назову две основные причины моего сегодняшнего выступления.

Первая заключается в том, что Школа гражданского просвещения и Европейский гуманитарный университет возникли практически одновременно (1992 г.) в Москве и в Минске в качестве насущного

* Статья подготовлена на основе выступления на семинаре Школы гражданского просвещения в Риге 30 июня 2025 г., а также состоявшейся после этого выступления дискуссии.

ответа на потребность общества в сфере трансформации гуманитарного образования, в наибольшей степени пострадавшего от тоталитарной идеологии. Тем самым обе инициативы являются практически по своему характеру. И можно расценивать мое появление сегодня как знак солидарности с давними коллегами и партнерами.

Вторая причина нуждается в более пространным пояснении.

Мы проводим нашу встречу на исходе первой четверти XXI века, и это побуждает нас к подведению некоторых итогов всего того, что произошло за последние годы. Приходится признать, что все это время не было недостатка в идеях и планах, которые продолжали разделять определенные эйфорические настроения, появившиеся после распада Советского Союза и прекращения холодной войны. Представители старшего поколения могут подтвердить, что на эти настроения наложила свой особый отпечаток и дата — начало XXI века, наступление третьего тысячелетия. Многообразие наполненных оптимизмом высказываний по самым различным поводам не поддается обзору. Нельзя не признать, однако, что нынешние события не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире в целом крайне далеки от этих наших предвосхищений и вызывают настоящую тревогу. Возникает правомерный вопрос: мы так и будем продолжать этот процесс умножения привычной риторики в прежнем духе благих пожеланий — того, что обозначают на английском посредством словосочетания *wishful thinking*?

*Мы так и будем
продолжать процесс
умножения привычной
риторики в прежнем духе
благих пожеланий?*

Я вижу свою задачу в необходимости краткого воспроизведения прозрений, которые были уже известны европейскому сознанию на протяжении достаточно длительного времени. Они вкратце сводятся к признанию опасности подмены ответственности за свое собственное поведение в этом мире интенсивной риторикой. Осознание этой опасности, восходящее своими корнями к середине XIX века, нашло отражение, в частности, в тексте *The Present Age* (1846)³ датского мыслителя Сёрена Кьеркегора, который гениально предвосхитил наступление новой эпохи в развитии общества — появление публичного пространства, которое, по его мнению, несет в себе зародыш угрозы, распространяемой зарождающейся в то время прессой, существенно обесценивающей способность человека к ответственному действию.

Примечательно, что в том же году, к сожалению, менее известный нашей аудитории немецкий мыслитель Фридрих Геббель, оказавший, впрочем, большое влияние на немецкую интеллектуальную традицию, писал: «В моих глазах пресса — величайший яд для нации. Последствия отравления будут ужасными, потому что по мере ее распространения оно будет принимать все более тяжелую форму...»⁴ Стоит ли в этой связи лишний раз вспоминать предельно резкие высказывания Шарля



Борис Михайлов. Из серии «Лурики», 1971–1985

Бодлера об опасности прессы в те времена, когда она еще была далека от того, чем является сегодня?

В начале XX века, в 1902 году, была опубликована новелла австрийского литератора Гуго фон Гофмансталя «Письмо лорда Чэндоса». Наряду с «Логическими исследованиями» Эдмунда Гуссерля с провозглашенным девизом «Назад к самим вещам!», вышедшими годом ранее, этот документ подводит определенный итог под прежним состоянием кризисного сознания европейского человечества, которое признает необходимость обретения нового языка для осмысления человеком мира и самого себя в этом мире. Нам известно также, что эта тенденция расставания с прошлыми стереотипами мышления и поиск новых способов его выражения затрагивают сферу поэзии, музыки, живописи, архитектуры и балета.

Описывая сущность кризиса языковой выразительности и человеческого общения, Гофмансталь признает несостоятельность и бессилие современной ему литературы, игравшей начиная с эпохи античности

ключевую роль в воздействии на сознание человека. Он достаточно радикально и резко обозначает проблему *изношенности* слов, безответственного использования понятий, включая и освященных традицией: Бог, человек, свобода, достоинство и т.п., и выражает свое состояние неспособности соучаствовать в стандартном *многоговении*. В связи с этим он пишет: «Привычные слова при произнесении рассыпаются под ногами, как засушенные грибы». Это означает, что понятия, которыми мы пользуемся, должны быть радикально обновлены и наполнены *вitalной* энергией и содержанием.

У другого известного австрийско-британского автора, Элиаса Канетти, есть небольшой сборник статей, одна из которых вынесена в название самого сборника — *Das Gewissen der Worte* («Совесть слов»)⁵. В ней Канетти описывает весьма примечательную ситуацию. Он ссылается на поэта, не называя его имени, который за неделю до начала Второй мировой войны пишет: «Если бы я был настоящим поэтом, я сумел бы предотвратить надвигающуюся войну». Согласимся, что такое заявление выглядит по меньшей мере странно. О чем идет речь? В статье фиксируется тот факт, что надвигавшаяся война, о приближении которой, кстати, предупреждали неоднократно, все-таки оказалась возможной. Неведомый поэт признает то обстоятельство, что если война случается, значит, массы людей готовы участвовать в ней, т.е. способны поддаться всеобщему психозу и ввергнуть себя в пучину потрясений и убийств. Они должны быть заранее обработаны пропагандой. А пропаганда — это *слова*, которые воодушевляют людей на поступки. И поэт приходит к выводу: если можно поднять людей на неистовство борьбы и убийств, то, по-видимому, должны существовать иные, альтернативные слова, которые могут этому противостоять. И вместо того, чтобы сетовать, или возмущаться, или обвинять других, он берет ответственность на себя и самокритично заявляет, что не смог найти эти слова именно потому, что он *ненастоящий* поэт. Таким образом, мы имеем дело в данном случае с примером проявления подлинной ответственности личности за происходящее вокруг!

Однако в наше время, когда мы успешно освоили выражение *critical thinking*, мы предпочитаем слишком часто его использовать по отношению к другим, но не к самим себе. И сталкиваемся с весьма сложной проблемой. Как быть? Каким образом нам предпринять усилия, болезненные по своему характеру, чтобы наделить слова, используемые нами в том числе и в сфере образования, способностью трансформировать то состояние, в котором человек, любой из нас, находится по самому факту своего рождения? Ведь каждый сталкивается с неизбежной непреложностью того, что русский поэт Афанасий Фет выразил так образно: «Если жить суждено и на свет не родиться нельзя...» Действительно, обнаруживая себя уже находящимися в этом мире, мы сталкиваемся с ситуацией, при которой осознаем, что не в нашей власти было не

родиться. Мы находимся в этом мире, захвачены этим миром, выражаем то состояние мира, которое предшествует нашему рождению.

И когда мы говорим «я думаю», «я считаю», то очень редко осознаем, что через нас/меня проговаривает та среда, та атмосфера, в которую мы/я врос и которую воспринимаю как нечто само собой разумеющееся. Стоит ли при этом говорить о том, что в нашу эпоху господства средств массовой информации каждый подвергается мощному воздействию

*Когда мы говорим
«я считаю», то очень
редко осознаем, что через
нас/меня проговаривает
та среда, в которую
мы/я врос*

анонимной информации, которая рискует подавить в нас то, что потенциально способствует формированию личностного начала в человеке?

Вот, например, мы вновь являемся свидетелями очередного конфликта на Ближнем Востоке. Это давняя борьба двух замкнутых смысловых миров, которые не в

состоянии найти язык для понимания и коммуникации. И если человек с момента рождения находится во власти своего укоренения в очевидностях и ненависти по отношению к другим, не разделяющим его точку зрения, он, сам того не осознавая, оказывается как личность несамостоятельным, недостаточным. Sapere Aude — это принцип, о котором в свое время говорил Иммануил Кант. И он был прав, упоминая необходимость иметь мужество пользоваться своим умом, видеть реальность в том виде, какова она есть, и находить те слова, которые отражают эту обращенную к нам феноменальную реальность. И отвечать на нее своим поведением, поступками, собственными словами. А это очень трудно, поскольку намного легче включиться в то, что господствует вокруг, стать носителем этого и просто это воспроизводить.

При открытии сегодняшнего семинара упоминалось имя Юргена Хабермаса. Мы были знакомы, поскольку я был одним из тех, кто оказался причастен к его первому визиту в Москву во времена бывшего Советского Союза. Вчера я написал ему письмо, хотя не уверен, что он ответит: все-таки ему 96 лет! Поясню, о чем идет речь.

Одна из последних публикаций Хабермаса — его книга *Die Zukunft der menschlichen Natur* («Будущее человеческой природы», 2002)⁶. Разумеется, он хорошо понимает, что слово «природа» по отношению к человеку не совсем уместно. После Дильтея, Ницше, Хайдеггера, представителей герменевтики — Гадамера, Рикёра и других — едва ли позволительно говорить о человеке в картезианском духе, в соответствии с которым по образцу и подобию *res extensa* («протяженная вещь») может осмысляться и *res cogitans* («мыслящая вещь») — человеческое существование. Иными словами, и в одном и в другом случае мы в конечном счете имеем дело с вещами (*res*). А характер вещей заключается в том, что они обладают определенными качествами, параметрами. Вот этот стол, например, за которым я сейчас сижу, обладает качествами и

характеристиками, неотделимыми от него как такового: он *есть* в этом фиксированном виде.

Но Хабермас, разумеется, не подвергает сомнению правоту утверждения Хосе Ортеги-и-Гассета, что «у человека нет природы», ибо «он есть история». Это означает, что человек — существо историческое, и то, кем он всякий раз является, зависит от среды, эпохи, культуры, традиции, религии, языка, которые он находит в определенном состоянии, когда приходит в этот мир. Как писал Александр Кушнер: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Таким образом, сам факт нашего пребывания в мире свидетельствует о том, что этот мир предопределяет характер того, *кто* мы и *что* мы есть! И, разумеется, нам гораздо легче не предпринимать никаких усилий, не «трепыхаться» и подчиниться давлению обстоятельств этого мира.

Но вернемся к книге Хабермаса. Он счел необходимым добавить к ее названию в качестве подзаголовка «Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?» («На пути к либеральной евгенике?»). Иными словами, автор в начале XXI века задается вопросом о тех умножающихся попытках генетического воздействия на человека, которые посягают на сам характер его существования. В конечном счете такие попытки представляют собой реакцию науки на драматические потрясения XX века, оказавшегося неспособным воплотить на практике некогда торжественно возвышенные идеалы прогресса и пытающегося, вторгаясь в «человеческую природу», изменить поведение человека.

Я не считаю себя достаточно квалифицированным, чтобы обращаться к полемике по поводу проблем генной инженерии, клонирования, смены пола — всего того, что оказалось возможным в результате прорывов науки в XX веке. Хотелось бы лишь напомнить, что в конечном счете мы имеем дело с проблемой, поднимаемой еще в «Фаусте» Гёте: способностью человека вызвать к жизни нечто такое, над чем впоследствии сам человек может утратить контроль. В результате этот «гомункулус» начинает жить автономной, самостоятельной жизнью и получает неконтролируемые самим человеком возможности развития.

Конечно, проблема бесконтрольного развития генной инженерии, к которой обращается Хабермас, является очень серьезной для нашего времени. Но есть и еще одна, не менее серьезная проблема, которая только набирает обороты. И ее опасность в том, что она, выступая в очередной раз в качестве соблазнительно-заманчивой, может привести к непредсказуемым последствиям. Это особенно опасно, когда появляется потребность в инструментах для решения насущных социальных проблем в эпоху, которую еще Ханна Арендт называла «темными временами» (dark times). В этой ситуации острой нужды в простых решениях человек, как говорится, хватается за соломинку. В наше время в качестве таковой воспринимается искусственный интеллект. Мы видим, какие надежды возлагаются на него в наших непростых обстоятельствах.

Использование этого инструмента в некоторых частных практических целях действительно помогает решать многие задачи и, казалось бы, сулит невиданные успехи при расширении на многие сферы человеческой деятельности. Но при этом мы забываем о том, что само возникновение homo sapiens как особого продукта эволюции стало возможным лишь в результате постоянных усилий, которые пришлось прилагать

*Предположение, что
наступает время, когда
мы можем быть
освобождены от бремени
усилий, чревато опасными
последствиями*

человеку на протяжении всей истории его существования. Предположение, что наступает время, когда мы от бремени этих усилий можем быть освобождены, чревато очень опасными последствиями. В основе этих неоправданных иллюзий лежит опять-таки наивное представление о человеке как о существе, якобы уже облада-

ющем от природы всем необходимым для своего развития. Но в то же время мы помним, что уже Кант признавал: «В природе человека есть некоторая порочность».

Я принес сегодня еще одну книгу очень интересного автора. Она называется лаконично и многозначительно: Das Böse («Зло»)⁷. Подзаголовков этой книги вносит некоторое уточнение в суть рассматриваемой проблемы: «Драма свободы». То есть мы имеем дело со своеобразием «природы» человека, которая заключается в том, что человек есть такое существо, которое может приносить в мир зло. Обращение к этой проблеме не является чем-то новым для европейской интеллектуальной традиции. Восходя в своих истоках к манихейскому учению, она возрождается в теодицее как попытке оправдания существования Бога при наличии страдания и зла в нашем мире. Однако трагический опыт XX века, оплаченный жертвами миллионов невинных человеческих жизней, в той культуре, которая некогда уверовала в неизбежность прогресса, побудил к новому осмыслению этой проблемы.

Так, например, известный писатель и мыслитель Артур Кёстлер, признанный в мире специалист в области исследования космологии эволюционных процессов Вселенной, в своих работах «Лунатики» и «Человек — ошибка эволюции» приходит к выводу, что человек является ошибкой эволюции. Что-то произошло, случился сбой в эволюционном процессе — и в результате получилось нечто такое, чем мы являемся. Услышав этот вердикт, нам всем впору впасть в глубокое уныние и протрацию: как же нам быть, если мы ущербны от природы? Но проблема намного сложнее и глубже, чем кажется на первый взгляд. Именно потому, что мы генетически не зафиксированы в своем поведении, как это присуще, например, нашим домашним животным — коту или собаке, или характерно для эволюционной предопределенности бытия камня или растения, где все «запрограммировано», у человека, в силу его «нефиксированности», имеется определенное поле свободы, возможность

заполнения этого своего рода вакуума определенным содержанием. И тогда возникает вопрос: так чем же мы этот вакуум заполняем?

Говоря об образовании, тот же Кант в свое время обращал внимание на то, что любой, даже тупой или ограниченный ум может при помощи обучения достигнуть состояния учености. Но вместе с тем человек может не обладать тем, что Кант обозначает при помощи трудно переводимого на русский или английский язык понятия *Urteilkraft* («способность суждения»). Его отсутствие у человека философ отождествляет с глупостью и отмечает, что против этого не существует лекарства. О чем речь? Мы знаем, что, в отличие от первых двух «Критик», проблематика которых осмысливается под эгидой понятия «разум» (нем. *Vernunft*, англ. *reason*), в третьей «Критике» новое понятие — *Urteilkraft* — по замыслу Канта должно завершить его систему и привести ее в состояние целостности.

Мне не хотелось бы создавать впечатление, что я пытаюсь вовлечь вас в дебри философских дискуссий, способных отвлечь от темы нашей встречи. Во-первых, Кант представляет собой мыслителя, в существенной мере выражающего парадигму умонастроений европейской интеллектуальной традиции, которая обрела определенные фиксированные контуры, определяющие состояние мышления нашего времени. Во-вторых, наше восприятие принципов и содержания этого мышления оказалось, как мы сейчас вынуждены признать, слишком однобоким с акцентом на своеобразное истолкование того, что мы называем разумом. В итоге мы воспринимаем себя как уже обладающих этим качеством. Все это имеет самое прямое отношение к нашему нынешнему представлению об образовании, которое во все большей мере утрачивает свой изначальный смысл.

Именно поэтому в середине прошлого века Арендт, пережившая экзистенциальное потрясение от осознания того факта, что даже богатейшая немецкая культура и ее традиции образования не смогли удержать нацию от нравственной деградации, для которой проблема образования выступает в качестве ключевой, обнаруживает в последней «Критике» Канта уникальную возможность для радикальной трансформации понимания состояния человека в мире. Она была вдохновлена идеями последней кантовской «Критики» и увидела в ней потенциал для социальной теории, основанной на принципиально иных принципах. К сожалению, как известно, она умерла как раз тогда, когда приступила к реализации этого плана. Таким образом, самая важная, последняя часть ее фундаментального произведения *The Life of the Mind: Judging* («Жизнь разума. О суждении») так и не была написана.

Как известно, со времен античности и определения человека в качестве *animal rationale* само слово «разум» воспринимается нами в качестве исходного принципа, на котором покоится наша уверенность в том, что мы уже обладаем необходимым основанием для знания о мире и о своем

собственном поведении в нем. Так, например, немецкое *Der Satz vom Grund* переводится на русский как «закон достаточного основания», а на английский — *the principle of reason*. Иными словами, это своего рода опора, в которой мы насущно нуждаемся, будучи не наделены от природы, как уже отмечалось, всем необходимым для нашего существования в мире. Она становится необходимой в эпоху утраты веры в бога, для которого уже более нет места в эпоху Просвещения, провозгласившего опору на собственный разум. В то же время оказывается, что эта опора,

*Мы живем в ситуации
интенсивной глобализации,
когда происходит
столкновение различных
смысловых жизненных миров*

это основание крайне шаткие и не обладают необходимой экзистенциальной силой для человеческого поведения, иными словами, такое основание само оказывается *безосновным*⁸.

Но мы живем в ситуации современной интенсивной глобализации, когда

происходит столкновение различных смысловых жизненных миров. И как быть с тем, что, например, для нынешних жителей Израиля очевидным является одно, а для жителей соседних арабских стран совершенно другое? Вот мы сейчас опять являемся свидетелями очередного всплеска взаимной ненависти на Ближнем Востоке. Разве это что-то новое?

Мне пришлось быть в США через две недели после террористического акта, совершенного экстремистами 11 сентября 2001 года. Когда я приземлялся в аэропорту Кеннеди, я был свидетелем поистине ужасного зрелища: две бывших башни Всемирного торгового центра все еще дымились, и вся страна находилась в состоянии шока. А потом я увидел по местному телевидению интервью с молодой арабской женщиной, муж которой участвовал в этой террористической атаке, заведомо зная, что идет на смерть и погибнет. На руках у этой женщины был ребенок — мальчик лет пяти-шести. Интервьюер, беседующий с этой женщиной, не заметил, чтобы она серьезно переживала по поводу безвременной гибели своего мужа. Более того, женщина гордилась тем, что ее супруг сделал! А сын погибшего сказал, что, когда вырастет, будет готов совершить такой же поступок.

Понимаем ли мы в достаточной мере, как глубоко укоренена в человеке уверенность в правомерности того, в плену чего он неизбежным образом находится в силу своего рождения, не осознавая этого, и что в то же время способствует однозначному мотивированию его поведения? В связи с этим возникает вопрос: каким образом образование может стать не просто трансляцией некоторого знания, заведомо наделенного полномочиями существующей системой образования, но процессом *трансформации* естественного состояния каждого из нас? Трансформации, понимаемой как осуществление необходимых *усилий* человека над самим собой, его готовности к преодолению своего собственного фактического состояния, в плену которого он находится под



Маурицио Каттелан (Maurizio Cattelan). *Бсё*. 2007

воздействием внешней среды. Каждый из нас должен отдавать себе отчет в том, что нам, не обеспеченным всем необходимым генетически в процессе эволюции, такого рода усилия жизненно важны. Но в то же время современная цивилизация, развивая науку, расширяет спектр технологических и инструментальных возможностей, использующихся нами в режиме автоматизма, и вселяет в нас уверенность в том, что мы наконец-то в состоянии воздействовать должным образом не только на природу, но и на общество. Мы предпочитаем при этом забывать о том, что изобретение человеком всего необходимого для своего собственного существования всегда приобреталось гигантскими усилиями и трудом. Но, как отмечал в свое время Йохан Хёйзинга, автор известной книги *Homo Ludens*, в наше время происходит постепенное ослабление духовных и физических мускулов человека. Иными словами, мы имеем дело с формированием среды, которая все больше и больше способствует своего рода «убаюкивающему» мышлению.

Существенный вклад в этот процесс вносит и сфера образования, как среднего, так и высшего, все больше использующего в качестве своего содержания нечто вроде *fast food education*. Такого рода образование с его простыми решениями скорее заслоняет реальные жизненные проблемы, чем способствует нашему обращению к ним. Я думал о том, какой термин в английском языке мог бы быть подходящим для такого образования, и предлагаю — *the pampering education*, подобно тому, как использование памперсов помогает ребенку в деликатной ситуации

отправления своих естественных потребностей. Возникает вопрос: в какой степени взрослый человек нуждается в таком образовании, которое внушает ему уверенность в существовании простых рецептов для решения жизненных ситуаций? Именно поэтому известный историк науки Пол Фейерабенд в своей книге «Тирания науки» утверждает, что «современные технологии потворствуют распространению невежества»: «Technology now encourages ignorance»⁹.

Мы живем в эпоху, когда окружающий нас природный мир все больше заменяется искусственным и тем самым трансформирует наше восприятие реальности с первых лет человеческой жизни. Соблазн растворения себя в этом мире, усугубляющаяся зависимость от него, своего рода «айфонизация» сознания заслоняют нас от фундаментального фак-

Окружающий нас природный мир все больше заменяется искусственным и тем самым трансформирует наше восприятие реальности

та, что жизнь ставит каждый раз перед каждым из нас задачу и вызов, для реакции и ответа на которые не может быть простых рецептов. В этом случае драма человеческой свободы, о которой уже шла речь, выражается в «бегстве» от нее, как отмечал Эрих Фромм, и человек

предпочитает уклоняться от ответа, проживая свою неповторимую жизнь.

Примечательно, что и Хабермас начинает уже упоминавшуюся книгу с цитаты известного немецкого писателя Макса Фриша из его романа «Штиллер». Автор вкладывает в уста прокурора, взглядывающегося в героя романа, вопрос: «Как распоряжается этот человек своим временем?»

Вопрос этот является крайне уместным, поскольку человек есть существо, определяющая особенность «природы» которого заключается в осознании временного характера его собственного существования. Однако признание факта конечности нашей жизни, понимание того, что она не будет длиться вечно и нужно наполнять смыслом ее содержание, слишком часто оказывается непосильным для человека, и в этом случае возникает соблазн заслонения экзистенциальных жизненных проблем посредством погружения в интернет или социальные сети.

В нашем университете мы начинаем курс «Введение в гуманитарное знание» с обращения к гениальному произведению Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Содержание и суть этой повести не поддаются простому академическому усвоению и интерпретации не только начинающими студентами, но и самими преподавателями, поскольку описание жизненного пути персонажа повести, как правило, не соотносится с личным опытом каждого из нас. По существу, речь идет об абстрактности и безжизненном характере того теоретического знания, с которым Иван Ильич сталкивался во время учебы в гимназии. При изучении, например, курса логики ему на примере универсального человека по имени Кай была известна истина о неизбежной смерти, действительная по

отношению к *каждому* человеку. Но, как мы убеждаемся, прослеживая жизненный путь героя, такое знание не оказало никакого на него воздействия вплоть до последних предсмертных минут. Стоит ли говорить о том, что в наши дни обилие этого безжизненного знания заполонило современный мир и можно легко потерять себя в нынешнем безбрежном мире информации?

Тем самым мы сталкиваемся с тревожной ситуацией, при которой обилие существующих образовательных структур не только не гарантирует достижение возвещаемых ими целей, но и обесценивает сам престиж образования в том случае, когда речь идет о дисциплинах гуманитарного профиля. Именно поэтому в последнее время все чаще раздаются голоса тех, кто выражает сомнение в возможности осуществления такого образования в прежнем формате. Так, например, Уильям Дересевич утверждает, что даже ведущие университеты США причастны к тому, что он называет *miseducation of the American elite* («неправильное образование американской элиты»)¹⁰, а Райнхард Брандт, кстати, известный специалист по философии Канта, задается вопросом: «Для чего вообще еще нужны университеты?»¹¹

Характерные для всего постсоветского пространства энтузиазм и эйфория по переименованию прежних высших учебных заведений в университеты и академии, а также по созданию новых образовательных структур были, как мы знаем, обусловлены насущными потребностями времени. Мы действительно нуждались и по-прежнему нуждаемся в новом интеллектуальном потенциале для осмысления возникшей реальности и ответа на вызовы общества, переживающего непростые процессы своей трансформации. Однако возникает вопрос: в какой мере мы сумели извлечь уроки из тех предостережений по поводу образования, которые уходят своими корнями к концу XIX века?

Еще Фридрих Ницше обращал внимание на эту проблему в своей статье, которая в английском переводе звучит как *Schopenhauer as Educator*. Вместе с тем в родном для него немецком смысл ее названия существенно корректируется: *Schopenhauer als Erzieher*. И если между английским *education* и немецким *Bildung* уже существует достаточное различие, то еще больший акцент смысла образования как *преобразования* и *трансформации* человеческого состояния имеется в немецком понятии *Erziehung*. Этимология этого немецкого слова предполагает процесс воздействия, которому кто-либо или что-либо подвергается для возможного достижения результата. Иными словами, человек как генетически несовершенное существо должен испытать на себе, пережить это воздействие.

Мы также помним о том, что у Арендт есть сборник статей под названием «Между прошлым и будущим», посвященных кризису культуры и образования, который остро осознавался далеко не одной ею на протяжении всего XX века¹². Английский вариант одной из статей

сборника — The Crisis in Education — опять-таки звучит в немецком переводе как Die Krise in der Erziehung («Кризис в воспитании»).

Таким образом, нам следует осознать радикальность проблемы: каким должно быть образование, чтобы оно способствовало становлению в человеке человеческого, а не просто исходило из того, что человек уже обладает всеми необходимыми «природными» качествами для их простого дальнейшего развития посредством трансляции готового к использованию знания.

Именно поэтому следует признать, что ситуация в гуманитарном образовании является крайне тревожной и требует от всех нас радикального переосмысления. Мы не можем не видеть, что западное общество, само не в полной мере сумевшее извлечь должные уроки из кризисного состояния культуры и образования, на протяжении последних десятилетий пыталось содействовать реформированию образова-

Каким должно быть образование, чтобы оно способствовало становлению в человеке человеческого?

ния на постсоветском пространстве, в том числе и в формате крайне привлекательно звучащих программ: Eastern Partnership («Восточное партнерство»), New Neighborhood («Новое соседство»), Enlargement («Расширение»).

Однако результаты этих усилий слишком часто не приводили к должному результату. Трудно избежать соблазна не вернуться к традиционно-русскому вопросу: что делать?

Я хотел бы в связи с этим завершить свое выступление упоминанием книги русского писателя и мыслителя Дмитрия Мережковского, достаточно хорошо известного в Европе, которого, в частности, очень высоко оценивал Томас Манн. Находясь в эмиграции, Мережковский издал в 1930 году в Белграде книгу под названием «Тайна Запада. Атлантида — Европа». Книга была написана по следам недавно закончившейся Первой мировой войны, и Мережковский выражает тревожное чувство по поводу неспособности Европы извлечь необходимые уроки из столь неожиданно разразившейся катастрофы. За десятилетие до начала Второй мировой он предчувствовал новую большую беду, более масштабную по своему характеру. Его очень беспокоило, что русская эмиграция тех лет — в Белграде, Париже, Берлине, Праге, Харбине — оказалась рассеянной, ее интеллектуальные ресурсы были раздроблены и не знали, что в этой ситуации делать. Беспокоясь о судьбе Европы, Мережковский вспомнил легенду из диалога Платона «Тимей» о некогда существовавшем материке Атлантида, который в силу потрясений глобального характера ушел под воду и прекратил свое существование. Мережковский предчувствовал, что такого рода судьба может постигнуть и Европу, если она не образумится. Но при всем отчаянии, которым были наполнены его тревожные пророчества, он все же задавался тем же вопросом: что делать? И пришел к выводу: нужно строить плот! Иными словами,



Милада Копелиович (Milada Kopeliovich). Эпизод 4. 2025

чтобы спастись в бушующем море, необходимо объединить усилия! Кстати, не следует забывать и о том, что Мережковский еще раньше написал статью под названием «Грядущий хам», в которой предупреждал о риске превращения Европы в некий «муравьиный» китайский мир.

Заканчивая свое выступление и возвращаясь к проблемам образования, хотел бы еще раз отметить, что оно слишком часто предпочитает пребывать в пространстве абстрактной стерильности теории, в которой *vita contemplativa* одерживает верх над *vita activa*. Об этом в свое время писал еще Гоголь в отрывке «Рим» из неоконченного романа. Обожавший Италию и Рим Николай Васильевич вынужден был с грустью констатировать: «Страшное царство слов вместо дел».

Дискуссия: вопросы и ответы

Захар, режиссер: Спасибо! Вроде простая мысль, но она очень серьезная. Слова и действия. Есть такая фраза: «Таланту надо помогать, а бездарности и так пробьются». Речь о том, что человек необразованный, не сомневающийся в своих действиях, более деятельный. Он почти всегда хочет что-то делать, действовать. И порой это приводит к ужасным последствиям. По сути, упомянутый вами мальчик, который сказал, что, когда вырастет, будет готов совершить такой же поступок, не будет разговаривать, а будет делать. Как же остановить тогда это действие? С чего начать противодействие? Потому что, как вы говорите, мы не действуем,

а они действуют. Не является ли это третьим законом Ньютона? Мы должны говорить, но не действовать, а у них, других, получается, нет слов, но есть действия. Это что, какой-то «баланс», что ли, человеческой природы? Хотя довольно грустный баланс...

А. Михайлов: Мы сталкиваемся с проблемой, которая с трудом поддается осмыслению, поскольку слишком часто обращаемся к ней, находясь в плену стереотипов мышления, исчерпавших себя. В какой-то момент культура нуждается в признании исчерпанности того, что развивалось в ней на протяжении определенного периода времени. Если речь идет о европейской интеллектуальной традиции, то на смену античной культуре пришло христианство, а в дальнейшем в рамках взаимодействия Афин и Иерусалима вера оказалась подменена учением о вере, и это учение стало пользоваться большими прерогативами, опираясь на силу доказательств. Мы знаем, что Арендт считает логику разрушительной для процесса мышления. Давайте не будем так, с ходу подвергать сомнению

*Культура нуждается
в признании исчерпанности
того, что развивалось
в ней на протяжении
определенного периода
времени*

это ее утверждение. Мы уже говорили, что логическое мышление покоится на незыблемости предпосылок, на которые оно опирается. Но эти предпосылки лишены своего абсолютного основания. Так, Кант, например, говорит о необходимости доказательства бытия Бога. Иными словами, то, что ранее воспри-

нималось как акт веры, сейчас нуждается в том, чтобы быть доказанным.

Переживая кризис европейской культуры как личную трагедию, Арендт обращается к последней «Критике» Канта, обнаруживая в ней возможность воссоздания утраченной целостности экзистенциального опыта, в котором осмысление мира и места человека в нем обладает потенциалом, противодействующим абстрактному «знанию». К большому сожалению, основанное на таком «знании» образование становится массовым. Мы знаем, что само слово «элита» в условиях демократии звучит достаточно предосудительно, но давайте согласимся с тем, что производство Моцартов, Бетховенов, Сезаннов не может быть поставлено на поток. Тем самым нам необходимо на конкретном примере продемонстрировать, как возможно реальное обновление.

В начале нашего века были опубликованы «Диалоги» Рикардо Доттори с Хансом-Георгом Гадамером¹³. Мне приходилось неоднократно встречаться с Гадамером, последний раз в 1999 году, когда ему было уже 99 лет. Ровесник XX века, выдающийся представитель герменевтической традиции Гадамер сумел выразить в своем творчестве, далеком от традиционного абстрактного академизма, понимание экзистенциальной необходимости восстановления связи с утраченной традицией, а также насущности диалога с иными культурами. Содержание интервью

относится к концу XX — началу XXI века. Еще до упоминавшихся событий 11 сентября 2001 года в этом интервью, которое можно в известной мере рассматривать как подведение итогов его долгого творческого пути, Гадамер предупреждал о необходимости налаживания диалога с миром мусульманской культуры. Примечательно также, что его замечание — задолго до появления ковида — о том, что мир может неожиданно постигнуть некая неведомая эпидемия, свидетельствует о его стремлении пробудить тревогу в беззаботном сознании, уверовавшем в свою силу безграничного контроля над реальностью.

Мы не знаем, что Арендт намеревалась выразить в своей завершающей части книги *The Life of the Mind* под воздействием прочтения последней «Критики» Канта, но мы знаем, что она обращалась к творчеству Вергилия, Кафки, Валери, Рильке, Мандельштама, Бродя и многих других не с традиционной точки зрения представителя теории, наделенного особыми полномочиями «судить» (от немецкого *Urteilen*) о литературе и искусстве, но для приобщения к опыту обнаружения мира в утраченной целостности человеческого восприятия. Точно так же и Гадамер вслед за Хайдеггером восстанавливает в своих правах целостность *бытийного* опыта пребывания человека в мире — *In-der-Welt-sein*. Но это означает, что такого рода опыт может выражать себя в поэзии, музыке, живописи, танце, мимике и жесте, которые представляют проявление человеком самого себя порой более мощно, чем абстрактная и шаблонизированная теория.

Тем самым нам нужно осознавать, что слишком часто мы все еще пытаемся говорить с подрастающим поколением, в том числе и в сфере образования, на языке, для восприятия импульсов которого у него просто нет соответствующей «антенны». О каком образовании может в этом случае идти речь? По-видимому, учитывая это обстоятельство, а также то, что нынешние дети подвергаются воздействию средств электронной коммуникации еще до того, как осваивают навыки владения чтением и письмом, нам необходимы достаточно радикальные и, может, даже несколько болезненные меры воздействия на сознание. Так, например, из медицинской практики известно, что иногда приходится использовать для лечения больного не всегда приятную терапию, которая для него связана с надеждами на спасение. Нечто похожее происходит с современным образованием, «болезнь» которого может стать неизлечимой.

Это проблема отнюдь не чисто теоретического плана. Мы рискуем утонуть в обилии всего написанного, произносимого в наши дни, но, как сказал Джордж Стайнер: «Притом что так много говорится, так мало сказано в этом мире».

Яна Миронцева: Действительно, мы разговариваем с детьми на другом языке. И весь огромный накопленный контент мировой культуры часто проходит мимо. Но почему нам не использовать современный способ

доставки контента до молодых мозгов, каким являются «ТикТок» или «Инстаграм»? Многие музеи мира уже используют маленькие видео для рекламы новых выставок и так далее. Почему не использовать это для образования?

А. Михайлов: Согласен с существованием этой потенциальной возможности. Хотел бы еще раз обратить внимание на великолепную книгу Йохана Хейзинги *Homo Ludens*. Вслед за Ойгеном Финком, ближайшим сподвижником Эдмунда Гуссерля, он полагает, что игровое начало, конституирующее (наряду с другими факторами) само бытие человека и столь характерное для детства, оказывается слишком часто приглушенным обилием так называемой теории. Эта теория по своей природе является насильственной по отношению к ребенку, который в свои ранние годы открыт миру и в котором жизненная энергия бьет через край.

Как-то в утренние часы мне пришлось наблюдать в Вильнюсе, на улице Вокечу, такую картину. Март месяц, весеннее утро. Воспитатели детского сада вывели детей на прогулку. Мое внимание привлекли некоторые из них, которые, вместо того чтобы резвиться вместе с другими, сидели на скамейке и были погружены в свои гаджеты. Есть ощущение, что природная детская энергия оказывается подавленной

*«Природное» начало в человеке
подвергается медийному
воздействию, которое меняет
поведение без всякой генной
инженерии*

погружением в ирреальный мир, который для этих детей становится естественным. Вспоминая книгу Хабермаса, мы сталкиваемся с тем, что «природное» начало в человеке подвергается медийному воздействию, которое меняет поведение

без всякой генной инженерии. Пытаться в будущем, когда эти дети подрастут, обращаться к состоянию сознания, сформированному с ранних лет в таком стиле, кажется все более проблематичным. К тому же феномен игры, столь присущий от природы человеку и стимулирующий его креативные способности, в настоящее время подавляется, поскольку в современном мире то, что ранее подразумевалось под словом *play*, все больше вытесняется инструментом *game* как способом простого времяпровождения.

В нашем университете недавно появилось отделение информационных технологий, еще не в полной мере интегрированное в контекст гуманитарного образования, но попытка столкнуть друг с другом два замкнутых мира — гуманитариев и технарей — представляет собой огромный вызов. Это происходит потому, что дисциплинарная расчлененность образования (с уверенностью в особой значимости каждой отдельной дисциплины) затрудняет понимание того, что современное состояние знания, обращенного к динамично трансформирующейся реальности, настоятельно требует преодоления «интеллектуального

сомнамбулизма». Нужна очень серьезная работа по использованию уникальных возможностей, предоставляемых современными технологиями, для трансформации содержания того, что по-прежнему выступает от имени знания, хотя еще во времена Арендт было признано в качестве утратившего свою силу: «Thought and reality have parted company» («Ибо мысль и реальность разошлись»).

Анастасия, Украина: Во-первых, я хотела поблагодарить вас. И спросить не столько как у философа, сколько как у менеджера из сферы образования. Столько лет возглавляя Европейский гуманитарный университет и присутствуя на разных других просветительских площадках, как вы работаете над тем, чтобы это было для людей не только абстрактным знанием, а чем-то значимым и переходило в некое действие, в компетенции, в то, что люди иначе начинают себя вести. Я не хочу, чтобы это прозвучало как некая претензия. Это именно рефлексия со стороны просветительской организации. Потому что я как представитель школы не всегда понимаю, как то, что делается у нас на площадке во время разговоров о ценностях, переходит в некое действие. Вот этот переход, который не всегда очевиден, как он проявляется? А возвращаясь к Европейскому гуманитарному университету: как это воплощалось в какие-то образовательные практики? Что делалось для того, чтобы кризис образования ощущался в меньшей степени и ваши выпускники выходили с некоей готовностью к действию?

А. Михайлов: Я воспринимаю ваш вопрос как серьезный повод для пояснения радикализма некоторых моих утверждений. Что касается философии, то и она в наши дни, к сожалению, утратила былой авторитет. Претендовать на то, что я являюсь философом, нет достаточных оснований в силу обстоятельств моего воспитания и образования. В одной из своих последних статей я попытался выразить это свое ощущение более подробно¹⁴.

Мои качества «менеджера» не менее сомнительны по своему характеру. Но не могу не признать, что я приложил практически отчаянные усилия для того, чтобы достучаться до тех, с кем пришлось иметь дело, чтобы донести идею более радикальной трансформации гуманитарного образования, чем это было принято в рамках стандартного формата существующих программ поддержки. Далеко не всегда мне это удавалось, поскольку слишком часто приходилось сталкиваться с уверенностью, что речь идет просто о трансляции фиксированного знания в сотрудничестве с уже существующими структурами. К тому же сама идея *приватного* университета в той сфере, которая заведомо не сулила финансовой стабильности, казалась граничащей с авантюрой. Наш проект появился в Минске в ситуации, крайне неблагоприятной для гуманитарного образования, многое происходило лишь в результате привлечения профессионалов из регионов, а также из стран Европы и Америки,

которые смогли нам помочь обозначить новые горизонты образования, до того неведомые в нашей реальности.

Одним из серьезных препятствий на этом пути является укоренившийся стереотип представления о знании, которое воспринимает то, что на английском обозначается в качестве the humanities по образцу и подобию знания естественных наук, обращенных к природному миру. Очень непросто отказаться от привычного словосочетания «гуманитарные науки», поскольку оно не только в русском, но и в немецком (Geisteswissenschaften) и французском (sciences humaines) языках зафиксировало себя в ныне существующей практике образования. Над нами по-прежнему довлеет престиж науки как способ постижения мира, который сулит нам желаемые результаты.

Это означает, что те усилия по самоопределению своеобразия нашего опыта обращения к себе самим и обществу, которые были предприняты на рубеже XIX–XX веков и обозначили новые горизонты the humanities, оказываются вновь задвинутыми под давлением авторитета естественных наук. Но при этом мы предпочитаем забывать, что само понятие «наука» предполагает определенную гарантию применения на практике ее результатов. Если мы обратимся к нынешней социальной реальности, то нас ждет сплошное разочарование. При этом очень немногие облада-

Над нами довлеет престиж науки как способ постижения мира, который сулит нам желаемые результаты

ют мужеством и способностью называть вещи своими именами, как, например, это делает автор книги The Tragedy of Political Science: Politics, Scholarship, and Democracy¹⁵ Дэвид Риччи.

Что же касается второй части вашего вопроса, то могу засвидетельствовать, что перевести в режим «образовательных практик» проблему понимания целостности познавательного опыта, в котором произведение искусства признается также в качестве знания, порой существенно более глубокого, чем выраженного посредством абстрактных концепций, дается с большим трудом. В этом случае нужно обратиться к перформативности самого процесса образования, помня завет Аристотеля: «Those who teach how to perform must be themselves performers». Об этом говорит и Ортега-и-Гассет, который также делает акцент на performative life. Иными словами, нужно пытаться, чтобы студенты демонстрировали на практике свою способность реагировать на предлагаемое им содержание учебного процесса. К сожалению, в сфере the humanities по-прежнему слишком много деклараций и демагогии, и часто идентификация who's who в ней происходит лишь на основе используемой абстрактной фразеологии. Как тут не согласиться с той же Арендт: «Intellectuals are no less corrupt than anybody else» («Интеллектуалы не менее коррумпированы, чем кто-либо другой»)?

При этом, в отличие от упоминаемого Элиасом Канетти поэта, практически никто не выражает готовности нести свою ответственность за производство и распространение того знания, которое по-прежнему не приводит к возмещаемым результатам.

Участница: Последнее время я и некоторые мои подруги начали искать утешение в философии, потому что психология нас уже не утешает, утешаемся Кантом. Я журналистка, и вопрос многоговения, которое ничего не меняет в окружающем мире в лучшую сторону, меня заботит чрезвычайно сильно.

Я хотела спросить про философов. Известны ли вам в XXI веке случаи, когда философы, ваши коллеги или, может быть, ученики успешно занимались управлением государством? Если вдруг такое происходит с вашим братом — так это же замечательно! Вот журналистов не так много в государственном менеджменте. Может быть, философы есть? И если есть, то на пользу ли это государствам?

А. Михайлов: Я уже высказывал свое мнение о тех, кто именуют себя философами. И не исключаю себя самого из этой категории. Но в наши дни очень нелегко найти продуктивную возможность возрождения того, что некогда представляло собой способ целостного постижения мира при крайне критичном отношении философов к самим себе. С тех пор философия превратилась в массовую профессию и преподается в рутинном режиме в качестве одной из дисциплин наряду с другими. Она также нуждается в радикальном обновлении, поскольку на протяжении последнего времени слишком самоуверенно наделяла себя полномочиями снабжения других «мировоззрением» или «методом».

Что же касается способности философов к управлению государством, то эта проблема достаточно интенсивно обсуждается во многих платоновских диалогах, и особенно в его трактате «Государство». Но дело в том, что уже тогда было понятно, что речь идет об утопическом представлении о государстве. Известная идея идеального государства, в котором будут управлять философы, возникла как реакция Платона на казнь его учителя Сократа, оклеветанного и приговоренного к смертной казни.

Нынешнее же состояние философии осознается уже с начала XX века как находящееся в глубоком кризисе, и полагаться на способность представителей этой дисциплины, утратившей свой прежний экзистенциальный смысл, в государственном управлении было бы опрометчиво. Мы сталкиваемся в наши дни с проблемой восстановления единства опыта, некогда существовавшего в европейской интеллектуальной традиции еще в доплатоновскую эпоху, когда человек понимал, что его судьба, Мойра, побуждает его либо покориться, либо найти в себе силы ей противостоять. Но в последнем случае человек должен быть героем и осознавать, что героизм неизбежно сопряжен с последствиями, ибо

противостоящий судьбе герой, как правило, завершает свою жизнь трагически. Расслабление нашего духовного состояния, в том числе и под влиянием убаюкивающей теории, является крайне опасным, и подлинное образование должно способствовать нашему пробуждению. В этом случае проблема выражения нашего опыта бытия заключается в языке в широком смысле этого слова, включая язык поэзии, живописи, музыки. Бытие не в полной мере выражает себя в слове, как писал

Расслабление нашего духовного состояния, в том числе и под влиянием убаюкивающей теории, крайне опасно

П. Флоренский: «Бытие таинственно и не позволяет выражать себя в слове». К большому сожалению, современная философия все еще не смогла преодолеть узы абстрактной концептуальности.

Елизавета: В этой жизни я активист, а в прошлом искусствовед. Я задаю себе один вопрос с 2022 года. Вы упоминали, что искусство способно проартикулировать те вещи, которые не могут быть проартикулированы в других местах. А я разочарована в искусстве, поскольку даже самое зубастое искусство сегодня обладает тотальной беззубостью, любая форма искусства ограничена публикой. Поэтому у меня такой вопрос: как, по-вашему, искусство может сейчас помочь?

А. Михайлов: По-видимому, искусство в его нынешнем состоянии действительно утрачивает свою силу воздействия на человека. Еще Гегель предсказывал наступление этой эпохи. Слишком часто искусство становится формой развлечения, и, как мы уже говорили, игровое начало в человеке — игра его «сил» (Krafte) — понятие, к которому в последней «Критике» Канта было привлечено внимание в XX веке не только у Арендт, превращается теперь в игру, в game. Но Кант не ограничивает искусство только творчеством человека. Его категория Erhabene («возвышенное»), sublime (англ.) подразумевает существование в природе чего-то такого, что превосходит нашу возможность традиционного понятийного выражения и в то же время побуждает нас к необходимости выражения.

К большому сожалению, наше понимание сущности произведения искусства находится под влиянием искусствоведов, а литературы — литературоведов, искусство также становится массовым и обесценивает себя в своих публичных формах.

Участник: Я правоведа, практикующий юрист, читаю лекции. Я преподаю две дисциплины: «Международное слияние и поглощение» и «Конституционное право и права человека». Права человека — это по любви, и всегда сложно. Потому что умные студенты, хорошие, всё знают, но всегда в начале каждого семестра мне нужно им доказать, зачем это им нужно. То есть они говорят: «Вот я сейчас изучу то, что мне нужно и пригодится, и буду работать». Да, университет действительно превращается



Kuril Chto. Война еще не закончена. 2023

в среднепрофильное практическое образование, и это большая проблема. Есть пять процентов, которые всегда интересуются, но вот на вопрос обычного студента, зачем ему это надо, я нашел единственный пока ответ: я связываю конституционное право с частными дисциплинами. Но это тоже не ответ.

Может ли университетская институция в целом справиться с необходимой функцией и доказать, что студенту это нужно? Потому что в

обществе он этого запроса не чувствует. То есть он чувствует запрос на слияние и поглощение, на корпоративное право, на какие-то прикладные вещи. Но запроса на гуманитарные знания у него нет. И у меня вопрос: как «продать» эту идею?

А. Михайлов: Действительно, «продать» эту идею студентам становится все труднее. Ибо вся существующая система образования по-прежнему покоится на постулатах картезианства. Когда Декарт провозглашает принцип радикального сомнения, он все-таки исходит из уверенности существования начала, которое в конечном счете сомнению не подлежит. Иными словами, человек предполагает себя в качестве уже наделенного особыми полномочиями по прояснению самого себя. Образование должно осознавать необходимость сотрясения этого устойчивого стереотипа. Речь идет не просто о приобретении профессии. Вопрос, как to become human, становится в этом случае ключевым.

«Духовное отрезвление», которое должно быть лейтмотивом образования, — это очень трудная задача, об этом было очень много уже сказано. Однако есть произведения и тексты, которые обладают определенной энергией пробуждения. Потому что существовали другие

*«Духовное отрезвление»,
которое должно быть —
лейтмотивом образования,
это очень трудная задача*

люди, которые понимали это очень хорошо. Они находили способы выразить это лучше, чем делаю это сейчас я сам. Именно поэтому нужно попытаться переосмыслить все то содержание, ставшее каноническим, посредством кото-

рого мы пытаемся достучаться до ученика или студента.

Юля: Я сейчас испытываю противоречивые чувства. С одной стороны, я во многом согласна с тем, что вы говорите. С другой стороны, мне очень хочется поспорить и сказать: не слишком ли много мы хотим от «ошибки эволюции»? Мне хотелось бы предложить (может быть, я могла бы назвать это феноменологической редукцией) некоторую дополнительную оптику на то, о чем мы говорим сегодня. Если мы посмотрим на другую часть мира, то заметим, что сейчас человеку предлагают много разных практик медитации, например. Существуют курсы для того, чтобы лучше понимать, что мы чувствуем, как наше тело откликается на какие-то состояния, которые мы испытываем, но, может быть, не имеем языка, чтобы их описать.

То есть как будто бы внешний мир предлагает человеку заглянуть в себя, чтобы с собой встретиться. При этом (то, о чем вы говорите) очень много разговоров, которые отвлекают нас не только от того, чтобы помочь миру найти какие-то решения практические, но и от самих себя тоже. Мне кажется, абсолютно невозможно говорить ни о какой практике и созидании, если мы ничего не понимаем про самих себя. Мой вопрос к вам как философу: как вообще помочь человеку встретиться с собой и этой встречи не испугаться?

А. Михайлов: До сих пор я делал акцент на попытках выразить состояние европейской интеллектуальной традиции, которая находится в состоянии глубокого кризиса. Но вы совершенно правы, говоря о необходимости «некоторой дополнительной оптики». Авторы, на которых я ссылался, так или иначе пытаются использовать то, что некогда, еще до возникновения этой традиции, являло собой целостность, постепенно распавшуюся на фрагментарные, отдельные дисциплины. В том числе речь идет и о постижении опыта иных духовных миров.

Как не испугаться? Очень деликатный вопрос. Но не следует и избегать обращения к проблеме. Уже Ницше говорил, что посмотреть в себя — это значит взглянуть в пропасть.

В немецком языке есть слово *Erleben*, смысл которого не совсем передается английским *life experience*. В этом случае мы имеем дело с погружением человека в процесс интенсивного переживания своего нахождения в мире, не выражаемого в рамках дистанцированного, теоретического отношения между субъектом и объектом. Объект — это нечто существующее вне меня, и я, обращаясь к этому «внешнему», ему противостояю. Но это мое мнимое противостояние происходит в мире, в котором я уже нахожусь и переживаю это мое состояние еще до теоретического отношения к этому миру. С первых мгновений человек приходит в мир с криком, а не с радостной улыбкой, но потом этот дискомфорт нашего пребывания в мире в значительной степени смягчается за счет заботы родителей о нас. Не следует заблуждаться насчет того, что наша жизнь будет в дальнейшем сопровождаться сходной опекой, и к этому нужно готовиться.

Можно назвать много имен в поэзии, живописи, музыке — тех, кто находил способ выражения того, что может обладать силой и энергией воздействия на других. Однако наш понятийный язык, как мы уже это неоднократно отмечали, становится все более формализованным и безжизненным. А потом вступает в силу логика, обладающая еще большей силой принуждения. В результате человек вообще оказывается в состоянии «безмыслия». Вспомним, с каких строк Хайдеггера начинается Арндт свою книгу *The Life of the Mind*. Спасибо вам за ваше внимание!

Ю. Сенокосов: Я хотел бы подытожить ответ Анатолия Арсеньевича его же фразой о том, что надо осторожнее относиться к понятиям и логике.

В начале перестройки в Советском Союзе появилась Всесоюзная школа по проблеме сознания, на конференциях которой собирались люди практически всех профессий. И на одной из них в Батуми году в 1984–1985-м Мераб Мамардашвили во время дискуссии сказал то, что мне очень понравилось, — я не дословно, но запомнил. Надо не забывать, сказал он, что существует «железная задница Аристотеля», то есть его десять известных понятий, категорий, не говоря уже о логике. Мне кажется, это хорошее выражение, помогающее искать ответ на заданный Юлей вопрос.

То, что говорил Анатолий Арсеньевич и о чем он говорил, — это действительно самое главное: как вернуться к живому себе? То, что выражается музыкой, — это эмоции, и мы знаем, что существуют не только эмоции, но и чувства, а также разум. Не говоря уже о гармонии. Давайте не забывать о том, что есть что-то мешающее нам понимать друг друга.

¹ См.: *Mikhailov A.* Humanities Education Disrupted and Transformed: How to Become Human in the XXI Century: Preface / Ed. P. Aleksandravičius. Vilnius, 2024.

² См. в связи с этим статью: *Brogan W.* Listening to the Silence: Reticence and the Call of Conscience in Heidegger's Philosophy / Ed. J. Powell // *Heidegger and Language*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2013. P. 32–45.

³ *Kierkegaard S.* Two Ages: The Age of Revolution and the Present Age / Ed. and trans. H. V. Hong, E. H. Hong. Princeton: Princeton University Press, 1978. P. 68–112.

⁴ *Гегбель Ф.* Избранное: в 2 т. М.: Искусство, 1978. Т. 2. С. 518.

⁵ *Canetti E.* Das Gewissen der Worte: Essays. Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 2005.

⁶ *Хабермас Ю.* Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? М.: Весь мир, 2002.

⁷ *Safranski R.* Das Böse. Oder Das Drama der Freiheit. Munchen; Wien: Hanser Verlag, 1997.

⁸ См. интересную книгу на эту тему: *Braver L.* Groundless Grounds. A Study of Wittgenstein and Heidegger. Cambridge; Massachusetts; London: The MIT Press, 2012.

⁹ *Feyerabend P.* The Tyranny of Science. Cambridge: Polity Press, 2011. P. 134.

¹⁰ *Deresiewicz W.* Excellent Sheep: The Miseducation of the American Elite and the Way to a Meaningful Life. Free Press, 2014.

¹¹ *Brandt R.* Wozu noch Universitäten? Hamburg: Meiner, 2011.

¹² *Арендт Х.* Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли / Пер. с англ. и нем. Д. Аронсона. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014.

¹³ *Gadamer H.-G., Dottori R.* A Century of Philosophy: A Conversation with Riccardo Dottori. N. Y.: The Continuum International Publishing Group Inc., 2004.

¹⁴ *Mikhailov A.* Thinking in Crisis: The (Ir)Responsibility of the Philosopher / Ed. P. Aleksandravičius // *Thinking in Crisis*. Vilnius, 2023. P. 11–25.

¹⁵ *Ricci D.* The Tragedy of Political Science: Politics, Scholarship, and Democracy. Yale, 1987.

Азиатская Европа

Все народное ничто перед человеческим. Главное дело — быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских, и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то мое, ибо я человек!

Николай Карамзин. Письма русского путешественника¹

Остается ли современная Россия, для которой вскоре начнется пятый год жестокого конфликта с так называемым коллективным Западом, европейской страной? Или же в состоянии борьбы за Украину она перестала быть таковой навсегда? Смею предположить, что авторам этой примечательной книги подобный вопрос покажется странным. В каждой статье, вошедшей в рецензируемый сборник, имплицитно или явно проводится одна и та же мысль: с определенных пор Россию невозможно позиционировать иначе как европейское государство, вошедшее — вольно или невольно — в ансамбль европейской политики, ведущее непрерывающийся диалог с европейскими державами и живущее европейскими устремлениями. Сами войны, которые Российская империя вела с европейцами, служат подтверждением этому. Как пишет в предисловии к книге ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Волков, «на протяжении двухсот лет <...> интеграция России в Европу происходила через войны и военные союзы», а европейские войны были «способом настолько же созидания отношений, насколько и их разрушения» (с. 8). В Новое время в спектре российских внешнеполитических приоритетов «европейские» задачи всегда имели приоритет над «азиатскими» задачами и целями, что, кстати, и неудивительно, ведь в Европе русские учились тому, как нужно развиваться, а в Азии — тому, как тормозить или умерщвлять развитие.

Сделав предметом своего анализа череду европейских войн, в которых Российская империя участвовала в XVIII–XX веках, авторы демонстрируют, что воды европейской политики неизменно оставались для русских родными: даже в пароксизмах ретроградства они никогда не забывали о «европейских идеях», без которых, по словам николаевского министра народного просвещения и изобретателя мема «православие, самодержавие, народность» Сергея Уварова, «мы не можем уже обойтись»². Работая в той же логике, российские историки, которых объединил рассматриваемый сборник, считают бывшие конфронтации империи Романовых с западным миром неопровержимым доказательством



Европейские войны Российской империи: сб. статей / Под ред. А. И. Миллера. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2025.

европейской сути России. Причем суть эта, как можно предположить, более или менее статична, поскольку не меняется в зависимости от политической и прочей конъюнктуры, сколько бы капитаны очередного разворота на юг или на восток ни уверяли в обратном. И в этом смысле Россия продолжает быть носительницей довольно интегральной идентичности — несмотря на многочисленные рецепции, произведенные страной у византийцев или татар³, ее базисом с момента становления современной государственности оставалась принадлежность именно к Европе, а не к Азии.

Диапазон войн, обсуждаемых историками-авторами, довольно широк, начиная с регулярных столкновений русских с турками и завершая столь же регулярными попытками умиротворить поляков. В каждой из них Российская империя вела себя примерно так же, как и ее партнеры-антагонисты, несмотря даже на то, что в праве причислять себя к Ев-

Базисом России с момента становления современной государственности оставалась принадлежность именно к Европе, а не к Азии

ропе ей нередко в пропагандистских целях отказывали. Блокируясь то с одной, то с другой европейской коалицией или самостоятельно выстраивая такие коалиции, она действовала, используя формулировку нашего времени, как «нормальная страна».

По замечанию Андрея Исэрова («Российская империя в международных отношениях долгого XIX века: к судьбе европейского концерта»), «в XVIII–XIX веках Российская империя была неотъемлемой, “естественной” частью европейских международных отношений, а ее династия брачными узами стала связана с протестантскими правящими родами Северной Европы» (с. 58). Лишить империю Романовых европейского флера не мог даже архаично-странноватый, на взгляд европейцев, тип политической власти, утвердившийся в Петербурге, — в принципе, с эксцессами самодурства и произвола в эпоху абсолютистских монархий были знакомы многие политические системы, и поэтому Россия не сильно выбивалась из общего ряда. Царям и царицам прощали даже то, что нередко декларируемые ими европейские цели государства напрочь дискредитировались азиатскими методами достижения.

Историческая преемственность несколько иного типа, которая также обнаруживается на страницах книги, выражалась в том, что стиль диалога облеченных властью русских с их европейскими партнерами с XVIII столетия — и, похоже, до сего дня — мало менялся. В позициях, озвучиваемых от имени империи, традиционно очень многое зависело от того, как чувствовало себя первое лицо: о чем оно думало, в каком настроении пребывало, как видело настоящее и будущее. Соответственно, свои грезы и фобии верховный владыка без труда транслировал *urbi et orbi*. Обозревая положение России в Европе под занавес Северной войны, Евгений Анисимов («Одиночество победителя: Россия и Европа в

конце Северной войны (1716–1721 гг.)» показывает, что многие реакции тогдашней российской верховной власти, зачастую оказывавшиеся ошибочными, диктовались сугубо «уязвленным самолюбием, оскорбленными чувствами правителя, который, не зная никаких ограничений внутри страны, распространял представление о своем могуществе и на международную сферу, притом что он полностью персонифицировал Россию с собой» (с. 32). Важно подчеркнуть, что подобное было свойственно не только Петру Великому: после него так же вели себя и многие другие первые лица как имперского периода, так и всех последующих.

Впрочем, главные отличия России от остальной Европы определялись вовсе не тем, что она временами отклонялась от европейских моделей поведения: подобное бывало и с самими европейскими державами. Если, скажем, по наблюдению Амирана Урушадзе («Когда Восток встретился с Западом, или Кавказская война в истории Европы»), Россия многие десятилетия усмирляла кавказских горцев неевропейскими методами, то ведь и Франция в Алжире, и Британия в Индии поступали аналогично, ибо императивы в подобных случаях задавались жестко — «местные условия заставляли забывать о нормах просвещения в целях выживания» (с. 103). По-настоящему фундаментальную разницу приносило все-таки нечто иное — конкретнее говоря, невероятное могущество, каким в ходе формирования российской внешней политики пользовалось то, что Евгений Анисимов называет «имперским воображением». Разумеется, никто не спорит с тем, что, размышляя о позиционировании своей страны в Европе, российские деятели довольно часто пытались противопоставлять естественному (для могучей державы того времени) тяготению к присвоению чужих территорий благоразумный расчет. «Что нам с войны, если, опустошив свою империю и растратив ее средства, мы получим взамен желаемое — неухоженный, дурной, бедный кусок земли с грубым народом и некрасивыми женщинами, который со временем принесет разоренье России?» — вопрошал цитируемый Денисом Сдвижковым («Семилетняя война (1756–1763 гг.) в политике и общественном сознании России») граф Захар Чернышов, один из самых ярких русских военачальников тех времен, обсуждая планировавшуюся тогда аннексию Восточной Пруссии (с. 49). Логика, однако, чаще всего вынуждена была отступать, поскольку фантазии о невиданной прежде империи отключали разум русских властителей — кстати, именно в таком контексте непомерные амбиции государства-триумфатора не позволили Петру Великому грамотно завершить Северную войну. «Прежние яркие победы в войне со шведами привели к тому, что Петр оказался в плену имперских мечтаний об особой роли России в

*Логика чаще всего вынуждена
была отступать, поскольку
фантазии о невиданной
прежде империи отключали
разум русских властителей*

европейском мире... — комментирует его поведение Анисимов. — Кроме того, царь был убежден, что сырьевое могущество России так важно и значительно для Европы (особенно для Англии), что прагматические расчеты с неизбежностью продиктуют предприимчивым англичанам, что с Россией лучше не ссориться» (с. 28). Вот и говорите после этого, что история не повторяется!

Собрание исторических исследований, собранных под одной обложкой Европейским университетом в Санкт-Петербурге — вероятно, самым передовым российским вузом нынешних смутных времен, — заставляет задуматься о многих вещах сразу. Но первейшая истина, которая книгой подтверждается, состоит в том, что Россия, несмотря на периодические пароксизмы официально насаждаемой азиатчины, не только была, но и будет европейской по своему умственному строю и своим социальным амбициям страной. А это, согласитесь, чуточку бодрит, за что авторам особая признательность.

Андрей Симбирцев

¹ Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Повести. М.: Правда, 1982. С. 355.

² Уваров С. С. О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения // Консерватизм: pro et contra, антология / Сост. А. Я. Кожурин. СПб.: РХГА, 2016. С. 140.

³ Подробнее о значении упомянутых рецептов для российской истории см.: Аба-лов А., Иноземцев В. Бесконечная империя: Россия в поисках себя. М.: Альпина Паблишер, 2021.

Контрапункт

Американская мечта и Британия

Тот факт, что отцы-основатели США не пошли к свету окружными сусанинскими путями, вызывает массу вопросов. Особенно у людей с российским опытом. Как можно было пойти к свету напрямую? Кто так ходит? В плане географии и климатических условий, надо заметить, американские революционеры находились в ситуации, знакомой российскому обывателю. Два с половиной века назад Штаты — это три тысячи миль до ближайшего города с хорошей библиотекой. Девственные леса простирались до горизонта. Дороги и звериные тропы выглядели одинаково, особенно в межсезонье. Бревно было главным строительным материалом. Зимой реки покрывались толстым льдом. Снег шел регулярно и обильно. Во многих регионах медведей было больше, чем людей, а отношения людей и медведей были далеки от гармонии. Охота на бобра и выкорчевывание пней были чуть ли не единственными экономически осмысленными видами деятельности.

Более того, с самого начала Америка стала убежищем для широкого ассортимента деятельных европейских мечтателей. Истории многих сект и политических движений с курьезными, экзотическими и жутковатыми представлениями о том, как можно улучшить этот мир, заканчивались покупкой билета на рейс через Атлантику. Люди, которые ежедневно слышали голоса ангелов. Люди, которые сами себя считали ангелами. Люди, которые были полны решимости сделать былью какую-нибудь очередную политическую утопию. Иногда они прибывали целыми караванами, корабль за кораблем. С такой географией и с такой демографией США легко могли пересусанить самого Сусанина, оставить его далеко позади. Несколько удачных импровизаций, серия административных пируэтов — и вот она, Москва-на-Потомаке.

И тем не менее не сложилось. Основатели Штатов, их преемники, преемники их преемников как



Максим Горюнов,
философ

будто нарочно и как будто назло уклонялись от окружающих сусанинских блужданий. Почему? Возможно, дело в том, что в свое время основатели посещали какую-то особую антисусанинскую школу. Возможно, их кто-то научил не ходить как Сусанин. Или они как-то сами этому обучились. Джеффри Розен, президент и генеральный директор Национального конституционного центра США, утверждает, что да, отцы-

Джеффри Розен утверждает, что отцы-основатели в самом деле учились не быть как Сусанин

основатели в самом деле учились не быть как Сусанин и посвятили этому не один десяток лет. Ни генерал Вашингтон, ни доктор Раш не были специалистами по российской истории. Поэт-декабрист Кондратий

Рылеев написал свое бессмертное «Куда ты ведешь нас?.. не видно ни зги!» в 1822 году, когда в США был уже пятый президент. Тем не менее по странному стечению обстоятельств основатели были в курсе общих принципов этого стиля навигации. И считали его абсолютно неприемлемым — по крайней мере, для жителей колоний.

В своей книге *The Pursuit of Happiness: How Classical Writers on Virtue Inspired the Lives of the Founders and Defined America* («В погоне за счастьем: как классические писатели о добродетели вдохновляли жизнь отцов-основателей и определяли Америку») Дж. Розен описывает, как будущие основатели страны год за годом прививали себе навыки, благодаря которым Москвы-на-Потомаке не случилось до сих пор.

Интерес к античному наследию

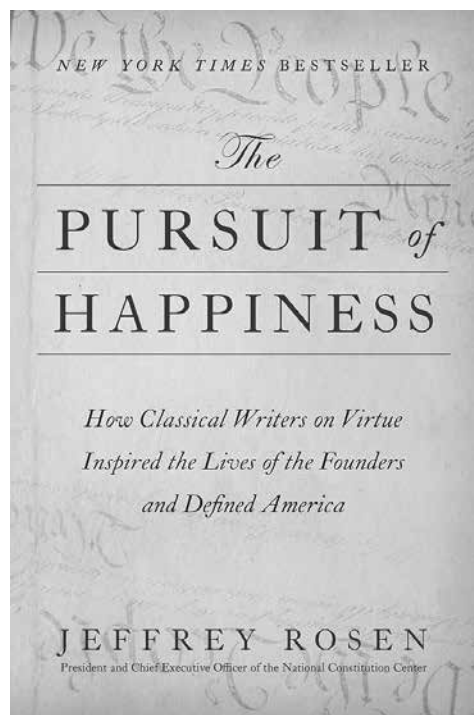
Изучая архивы, Джеффри Розен обратил внимание на списки литературы для чтения основателей Америки. Джефферсон, Франклин и другие постоянно составляли такие списки для себя, для своих близких и для всех, кто их просил. В мире до интернета и до искусственного интеллекта люди остро нуждались (не менее остро, чем в наши дни) в рекомендациях, что читать и что не читать. Чаще всего это происходило так: глава семейства отправлял письмо одному из основателей — допустим, Адамсу — с просьбой порекомендовать книги для его детей с лучшими советами, как быть добрым американцем.

Изучив эти списки, а также дневники и переписки основателей, Розен пришел к выводу, что у них был режим тренировок ума и чувств, схожий по интенсивности с олимпийским. Например, Джордж Вашингтон, который вошел в мировую историю как один из самых (если не самый) сдержанных политиков, считал, что у него большие трудности с контролем эмоций. Нужно иметь в виду, что Вашингтон как минимум дважды отказывался от предложения стать первым американским «королем». Первый раз — сразу после окончания Войны за независимость. Второй — сразу после окончания своего второго срока. Оба раза существовало множество убедительных аргументов в пользу узурпации

власти. Стать «королем» можно было на время — чтобы спасти молодую республику от хаоса. В первые годы независимости хаоса в Америке было в избытке.

Вашингтону самому пришлось разбираться с попыткой военного переворота: некоторые его офицеры были так возмущены продолжительными задержками жалования, что были готовы разогнать гражданскую администрацию. Кроме того, Вашингтону пришлось подавлять первое американское восстание, когда бывшие британские подданные, став гражданами США, с оружием в руках отказывались платить новые налоги. Новой стране нужно было выплачивать долги, которые были накоплены за годы Войны за независимость. Некоторые американцы посчитали, что эти долги не имеют к ним отношения. Нужно иметь в виду, что на этот раз налоги повысил не какой-то далекий британский парламент. Это были американские налоги от американского парламента и на нужды американских граждан. Восставшие не видели разницы. Ситуация зашла так далеко, что разбираться с ними пришлось с помощью армии. Солдаты, буквально вчера воевавшие с британцами, должны были уладить конфликт с американцами, такими же как они. Командовал ими сам Вашингтон. Эти и другие события свидетельствовали, что будущее молодой республики довольно туманно.

И все-таки Вашингтон преодолел искушение. Несмотря на просьбы, он принял решение остаться первым в истории демократически избранным главой страны. Как человек с такой выдержкой мог сомневаться в своей способности владеть собой? Для российского ума двукратный отказ от признания себя «королем» — это сюжет из мира юношеских фантазий, нечто бесконечно далекое от «как оно обычно бывает». Если верить автору, у Вашингтона в самом деле были сложности с самоконтролем. Да, на публике он казался абсолютно невозмутимым. В самые тяжелые моменты войны с британцами он нередко оставался единственным во всей американской армии, кто не терял головы. Он казался непроницаемым для паники. При этом,



Rosen J. *The Pursuit of Happiness: How Classical Writers on Virtue Inspired the Lives of the Founders and Defined America*. New York: Simon & Schuster, 2023.

Вашингтон принял решение остаться первым в истории демократически избранным главой страны

согласно признаниям его секретаря, оставшись один на один с самыми доверенными людьми, он становился переменчивым, тревожным и иногда импульсивным. Нужно было оказаться в его приватном пространстве, чтобы увидеть, что все обычные человеческие чувства — страх, ненависть, гнев — не просто были у Вашингтона. Они в нем бушевали.

По мнению автора, самообладание Вашингтона — особенно во второй половине жизни — связано с тем, что с ранней юности он сознательно упражнялся в сдержанности. Его спокойствие — это навык, который он сам в себе воспитал. Примеры сдержанности он брал отовсюду, включая биографии шведских королей. Но основным источником были учения римских стоиков. Свой первый перевод Сенеки он купил почти

*Наше мнение легко
подчиняется мнению
озлобленной толпы.
Мы соглашаемся с толпой
быстрее, чем сами можем
это заметить*

за сорок лет до того момента, когда ему нужно было делать выбор между тиранией и народовластием. Судя по решению, которое было принято, стоики в самом деле научили его держать себя в руках. Стоики были на полках у всех основателей. Ссылки на Сенеку — в печати и в личных переписках — активно при-

ветствовались. Те, кому позволяло образование, читали его на латыни. Неспособность же читать римлян на их языке была поводом для самых горьких сожалений. Римляне были так популярны в том числе и потому, что их рекомендации не были абстрактными, как, допустим, у неоплатоников. Стоиков легко понять, их логика всегда прозрачна, их цели не выходят за рамки здравого смысла. С точки зрения первых американцев, это было как раз то, что нужно.

Кроме советов, как справиться с чувствами, в ходу были рецепты, как мыслить правильно. В вопросах трезвого мышления пальма первенства принадлежала мыслителям Просвещения: Ньютону, Юму и, безусловно, Локку. Томас Джефферсон, третий президент США, охотно рекомендовал своим знакомым читать трактат Джона Локка «Об управлении разумом». Это краткое пособие для тех, кто желает научиться мыслить ясно. Согласно начальному замыслу, «Об управлении разумом» должно было стать главой в фундаментальном труде Локка «Опыт о человеческом разумении». Текст, к сожалению, остался незаконченным, что не помешало его популярности, особенно среди педагогов. Редакторы в предисловиях к переизданиям начала прошлого века хвалят «Об управлении разумом» как лучшее пособие для молодых людей, желающих обучиться искусству рассуждения. Локк утверждал, что наше мышление нуждается в руководстве. Если предоставить мысль самой себе, мы рискуем утратить контакт с реальностью. Мышлению нужен метод, нужны правила. Среди прочего философ предлагал регулярно напоминать самим себе о многих и многих уязвимостях нашего ума. Полезно не забывать, как легко наше мнение подчиняется мнению озлобленной



Титус Кафар (Titus Kaphar). Демократия требует ясного понимания прошлого, включая его ошибки. 2019

толпы. Мы соглашаемся с толпой быстрее, чем сами можем это заметить. Такова природа ума, так устроены мы. Человек, желающий уберечь свой ум от лишних ошибок, должен методично напоминать себе об этой особенности и не спешить соглашаться с толпой, особенно когда ее голоса становятся оглушающе громкими.

Не только римляне в тогах и высоколобые академики в белых париках вызывали интерес отцов-основателей. Их любознательность не знала границ. Любой человеческий опыт, каким бы далеким и редким он ни был, привлекал их внимание. В интеллектуальной биографии Бенджамина Франклина есть эпизод, когда, узнав об экспедиции, которая вернулась из Австралии и Новой Зеландии, он обратил внимание на людей, обитающих в тех землях. Франклину было важно узнать, преследуют ли они те же цели, что и жители Лондона с Филадельфией. И если нет,

счастливы ли они? Капитан экспедиции сообщил ему, что австралийцы, которых ему довелось увидеть, были меньше заинтересованы в улучшении своего материального положения. По крайней мере, они не обратили внимания на подарки, оставленные его командой. Стремления австралийцев иные, считал капитан. И да, они показались ему спокойнее и по-своему счастливее, чем подданные британского короля. Рассуждая на эту тему, Франклин сделал несколько записей о том, что у тех, кто обитает в южной части этой планеты, возможно, есть более разумное понимание того, как следует проводить свою жизнь. Быть может, жить в первозданной простоте на океанском пляже, каждый день видеть солнце и не тратить время на удовлетворение тысячи потребностей — это и есть счастье? Греки, в отличие от римлян, часто на это намекали. Интерес основателей к римлянам и Просвещению будет более понятен, если вспомнить, насколько глубоко они были вовлечены в интеллектуальную жизнь империи. Их интересы, их видение, их стиль, даже самые радикальные их идеи — источники всего этого без труда можно найти в Лондоне того времени.

Медленное превращение подданных в граждан

Известный британский историк Питер Мур, рассуждая о связях между колониями и метрополией, стремится преодолеть национальные границы. Свою книгу *Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness: Britain and the American Dream (1740–1776)* («Жизнь, свобода и стремление к счастью: Британия и американская мечта (1740–1776)») Питер Мур начинает со смелого утверждения: британцы были первыми, кто мечтал о свободе и просвещении. Зато американцы стали первыми, кому удалось воплотить эти мечты в жизнь. Декларация о независимости Соединенных Штатов для американцев — это начало нового мира, их мира! А

*Британцы были первыми,
кто мечтал о свободе
и просвещении. Зато
американцы стали
первыми, кому удалось
воплотить эти мечты
в жизнь*

для британцев — удачное осуществление планов, их планов, которые вызревали на островах в течение столетий.

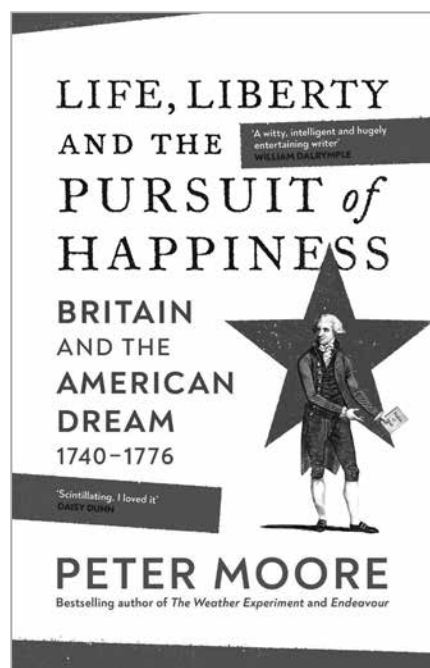
Интеллектуальную связь американцев с британцами ярче других описывает эпизод с одним из самых амбициозных издательских проектов Франклина. За тридцать лет до революции он издает перевод трактата Цицерона «Катон Стар-

ший, или О старости». Перевод с латыни был выполнен американцем. Франклин без труда мог найти переводчика в одном из университетов на Британских островах, но замысел был в том, чтобы продемонстрировать интеллектуальный прогресс жителей колоний. Американский перевод Цицерона — это было упражнение на аттестат зрелости. «Время ученичества прошло, теперь мы способны читать Цицерона самостоятельно», — говорил Франклин своим британским читателям. В

роли переводчика выступил Джеймс Логан, бывший глава штата Пенсильвания и, по общему мнению, один из самых образованных людей колонии. В его библиотеке было три тысячи книг; в середине XVIII века это была лучшая коллекция во всей Северной Америке.

Выбор трактата Цицерона тоже был не случайным. И не без некоторой иронии. «О старости» — судя по названию, это именно та тема, которая занимает умы, достигшие зрелости. Что еще важнее, Франклин отдавал себе отчет, что мода на римлян не возникла в колониях. Наоборот, она пришла из метрополии, через журналы, памфлеты, трактаты, привезенные из столицы. Выбрав именно Цицерона и именно этот трактат, он показывал образованным британцам, что и он, и его соотечественники читают одни и те же тексты. И, возможно, они читают эти тексты с большим вниманием и с большей пользой для себя, кто знает? Качеству перевода соответствовала безупречная типографика: бумага, краски, шрифты. Книга выглядела как изданная в одной из европейских метрополий, но лучше. Экземпляры были отправлены в Лондон издателю Уильяму Страхану. Это было как минимум смело. Кроме прочих заслуг, Страхан публиковал работы философа Дэвида Юма, экономиста Адама Смита и историка Эдуарда Гиббона — имена первой величины и тогда, и сейчас. Американский перевод Цицерона произвел именно то впечатление, на которое Франклин и рассчитывал. На многие годы Уильям Страхан стал одним из его самых близких собеседников.

Другой пример — степень вовлечения основателей в британскую политическую жизнь. Основатели интересовались политикой с ранних лет, что логично. Их политическое формирование происходило на фоне соперничества двух партий: консервативных тори и либеральных вигов. Тори считали право короля на власть священным. Виги не считали монархию первой необходимостью и любили перечитывать историю Рима до Цезаря. В каждом корабле по маршруту Старый Свет — Новый Свет были материалы для чтения от обеих партий. Неудивительно, что в рассуждениях американских революционеров о том, как могло бы быть устроено лучшее общество, и в партийных памфлетах из Лондона много созвучных тем.



Moore P. *Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness: Britain and the American Dream (1740–1776)*. London: Chatto & Windus, 2023.

Есть мнение, что повестка Американской революции во многом совпадала с повесткой либеральных вигов. Ограничение власти короля, превосходство парламента, налоги легитимны только в случае их одобрения налогоплательщиками — такие рассуждения встречали американцев в лондонских кофейных домах. Автор приводит в пример мнение Джефферсона о том, что в революции

*На момент объявления
независимости основатели
были преуспевающими
подданными британского
короля*

были виноваты консерваторы из окружения молодого короля. Если бы король советовался с либералами, колониальная администрация вела бы себя разумнее. И тогда у революции не было бы шансов. Джефферсон оперирует именами британ-

ских политиков как искренне заинтересованный британский подданный, кем он, собственно, и был до 1776 года.

Подводя итог, задаешься вопросом: было ли это локальное увлечение римлянами и Локком, благодаря которому американцев унесло так далеко от сусанинских маршрутов? Или локальное увлечение было результатом ферментации идей в метрополии? В любом случае в этом медленном превращении подданных в граждан, в постепенном вызревании навыков гражданственности есть нечто магическое. Как и остальные американцы, основатели готовились прожить всю жизнь в качестве подданных британского короля.

Они читали римлян, они следили за парламентом, они сочувствовали либералам, они негодовали по поводу некомпетентности генерал-губернаторов. Но при этом они не превращались в профессиональных революционеров, как Ленин и Троцкий. Они жили относительно спокойной жизнью, без ссылок и побегов. Ни у одного из основателей нет опыта организации налета на банк. И никто из них не был судим за свои политические убеждения. На момент объявления независимости основатели были преуспевающими подданными британского короля. Их карьеры и их благополучие не могли быть построены без щедрой порции лояльности. Некоторые, как Франклин, были так влюблены в лондонское общество, что готовы были забыть о Северной Америке навсегда. Другие, как Адамс, имели опыт защиты в суде британских военных, стрелявших в колонистов, отказавшихся подчиняться властям. И практически у всех были родственники и друзья, которые предпочли переехать в Канаду, но не отказываться от своих чувств к монарху.

Удивительно, как им удалось не радикализировать себя. Несмотря на разницу между тем, чего им хотелось бы, и тем, что у них было, они оставались просто очень чуткими налогоплательщиками. За десятилетия ожидания — и даже без ожидания, что еще сложнее, — у них не выработался вкус к политическим миражам. Их самые смелые проекты год за годом оставались подчеркнуто осторожными, если не сказать приземленными. Им не нравилось, когда новые налоги возникали без их

согласия — это были их альфа и омега. Вопросы, допустим, равенства заботили их не так сильно. Налоги — вот тема, о которой они думали не переставая. Налогов должно быть много или мало? Если мало, то как мало? Можно ли отказаться от них совсем? Если много, то как сделать так, чтобы они были использованы именно на те цели, ради которых они были собраны?

Стиль рассуждения основателей о том, что есть зло и что есть добро, порадовал бы бухгалтеров. Профессоров с кафедры математики и экономики порадовал бы тоже. Что касается юных сердец, то здесь были бы сложности. Юные сердца вроде бы не любят про налоги. Юных привлекают масштабные, глобальные проекты. Советский «мировой пожар нагло буржуйам», например. Или что-то более современное, с участием китайских технологий. В этом отношении основатели стабильно оставались неамбициозными. Или так: их амбиции были впечатляющими для них самих и людей их круга по обе стороны Атлантики. Не рассчитывая всерьез на перемены, они потратили десятилетия на обучение себя и своих близких тому, как играть в гражданское общество и как жить без монарха и без метрополии. Как можно было так долго читать книги о гражданственности, видеть в этом призвание каждого человека и источник счастья, оставаясь при этом подданным?

*Возможно, древние греки
были правы и участие
в политике — это
такая же сильная
потребность человека,
как еда и безопасность*

Впрочем, возможно, древние греки в самом деле были правы? Возможно, участие в политике — это такая же сильная потребность человека, как еда и безопасность? Возможно, наша природа при всей ее пластичности не переносит, когда власть с нами не говорит? Возможно, это нормально учиться, учиться и еще раз учиться гражданским добродетелям, даже когда вероятность их применения стремится к нулю? И, возможно, это вполне нормально, когда мечты о том, как нам лучше быть вместе, не горят, но тлеют годами?

В мире, где американская внешняя политика слишком часто лишена стратегического фокуса и формируется ограниченными и порой не связанными между собой политическими интересами, а российская внешняя политика сосредоточена на восстановлении геостратегической мощи и национального величия, отношения между США и Россией прошли путь от прагматического сотрудничества к более настороженному и конфронтационному взаимодействию. В статье, опубликованной в *Politico Magazine* 15 августа 2025 года*, Тоби Гати, сопредседатель Совета директоров Школы гражданского просвещения и бывшая советница президента США Билла Клинтона по России, Украине и странам Евразии, рассматривает, как со временем изменились взгляды главного советника Путина по Америке Юрия Ушакова и российского правительства; где проходит грань между личными контактами, деловыми интересами и официальной внешней политикой России; как Россия будет выстраивать отношения с президентом США, который «и не враг, с которым нужно бороться, и не друг, которому можно доверять»; и что все это означает для американо-российских отношений и будущего Украины.



*Тоби Гати,
сопредседатель
Совета директоров
Школы гражданского
просвещения*

Помощник Президента РФ

Главный советник Путина по внешней политике и «гуру по Америке» Юрий Ушаков провел 10 лет в Вашингтоне в должности посла России в США. Большую часть этого периода я время от времени обедала с ним в его любимом итальянском ресторане на P Street, недалеко от Dupont Circle. Конечно, я не знала заранее, где мы встретимся; мы договаривались только о времени, а место мне сообщали по телефону утром в день встречи. Я всегда предполагала, что Ушаков хотел минимизировать вероятность того, что наш столик будут прослушивать как американские, так и российские спецслужбы. При этом он рассчитывал, что я буду делиться сведениями о наших обедах с бывшими коллегами из Госдепартамента или Совета национальной безопасности. Что, разумеется, я и делала.

* <https://www.politico.com/news/magazine/2025/08/15/putin-trump-alaska-ushakov-00510620>

Оглядываясь назад, я понимаю, что мои взаимодействия с Ушаковым отражали более широкие тенденции в российско-американских отношениях.

Я не припоминаю, чтобы Ушаков когда-либо выражал несогласие с внешней политикой Кремля, хотя, объясняя ее мне, он старался сделать ее менее конфронтационной и оставлял возможность найти точки соприкосновения. Конечно, все хорошие дипломаты такие, но в случае с Ушаковым преданность «партийному курсу» была привита ему и его сверстникам — ему сейчас 78 лет, — когда они только приходили работать на советскую дипломатическую службу. Тем не менее он был достаточно гибок, чтобы приспособиться

Кремль, казалось, был застигнут врасплох популярностью оппозиционных кандидатов и связывал это с западным вмешательством

к посткоммунистическому транзиту при Борисе Ельцине, а затем — к изменениям в ранний период правления Путина. Он говорил мне, что одобрял шаги к рыночной экономике (конечно, под строгим контролем государства), потому что понимал: американский бизнес будет инвестировать в Россию, только если сможет зарабатывать деньги и если страна создаст благоприятные условия для компаний и их сотрудников. Но опять-таки таков был новый партийный курс.

По этой причине он всегда хотел знать, как можно побудить американские компании инвестировать в Россию. К тому времени я уже работала в частном секторе старшим советником по международным вопросам в юридической фирме Akin Gump. Моим начальником был легендарный Роберт Страусс — выдающийся вашингтонский инсайдер, серый кардинал, бывший посол США в России и председатель Американо-российского делового совета. Так что неудивительно, что развитие американо-российского бизнеса стало центральной темой наших обедов. Ушаков тогда считал, что хорошие деловые отношения способствуют интересам России. При этом он полагал, что «политика» не должна мешать бизнесу и что западные правительства не должны вмешиваться, даже если предприниматели арестованы или их активы изъяты судами, контролируруемыми государством.

Это, можно сказать, был «старый» Юрий Ушаков. Он вовсе не ненавидел Запад, даже отправил своего любимого внука учиться в Европу. Затем, в 2008 году, он вернулся в Москву и присоединился к администрации Путина в качестве советника по внешней политике. Во время моих последующих поездок в Москву он продолжал встречаться со мной, теперь уже принимая в своем просторном и элегантно обставленном кабинете недалеко от Кремля. И чем больше времени он проводил там, в Кремле, тем отчетливее я наблюдала, как меняется его взгляд на США, становясь все более мрачным; во многом это определялось внутренними проблемами России, особенно когда страна вступала в период

нестабильности на фоне парламентских выборов 2011 года. Кремль, казалось, был застигнут врасплох популярностью оппозиционных кандидатов и связывал это с западным вмешательством и финансовой поддержкой гражданских организаций, оказывающих помощь оппозиции.

Как я пишу в своих заметках за апрель 2013 года, уже тогда он говорил очень похоже на других российских (и советских) бюрократов: «новый» Ушаков был склонен обвинять США во всех мировых проблемах, отвергая любую критику российской политики — как внешней, так и внутренней, — в странах Ближнего Востока, в Афганистане, а к тому времени и в вопросах западного вмешательства в Украину.

Несколько месяцев спустя, в 2014 году, Ушаков задал мне вопрос, который меня удивил: почему американцы ненавидят россиян? Вопрос, который он не мог бы задать мне в Вашингтоне несколько лет назад.

Россияне считают США врагом; они надеялись, что для нас всегда важнее будет зарабатывать деньги, чем что-либо еще

Я ответила (кажется, по-русски): «Я не ненавижу россиян. Я люблю язык, пою русские народные песни, читаю русскую литературу... Мне нравилось то, что пытался делать Ельцин, я добивалась, чтобы наше правительство серьезно относилось к российским проблемам. Я не

теряла надежды на более терпимую, более открытую Россию». Затем я добавила: «Честно говоря, я не могла поверить, когда в 2005 году президент Путин назвал распад Советского Союза “катастрофой” — вы сами знаете лучше меня, сколько страданий перенес российский народ при том режиме». Ушаков защищал своего руководителя, и наш разговор на эту тему закончился.

Тем не менее, несмотря на растущее напряжение между США и Россией, особенно после вторжения России в Крым в 2014 году, Ушаков встретился со мной и на следующий год. Одной из основных тем была предстоящая президентская кампания в США 2016 года. Ушаков интересовался всеми кандидатами от Республиканской партии, но больше всего я запомнила его положительные комментарии о Дональде Трампе — особенно по сравнению с Хиллари Клинтон. Он «освежает», сказал тогда Ушаков, а США нужен «новый подход» во внешней политике.

Отношение Ушакова ко мне оставалось дружелюбным, но вопросы торговли больше не были на первом плане. Мы продолжали встречаться до 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Именно тогда почти все двусторонние контакты с Россией — деловые, научные, парламентские обмены и туризм — прекратились.

На протяжении многих лет меня снова и снова спрашивали, особенно перед недавним саммитом на Аляске: «Понимают ли нас россияне?» Трудно сказать. Но нужно помнить, что есть разница между тем, что они «знают», и тем, что говорят, даже в личных беседах. Я знаю одно: они считают США врагом; они надеялись, что для нас всегда важнее



Лёша Ковальчук. Первый пришел – первый сел. 2025

будет зарабатывать деньги, чем что-либо еще. Эта надежда была ошибочной. По мнению россиян, теперь США движимы гегемонистскими устремлениями.

Лучше ли мы понимаем Россию, чем раньше? Я считаю, что на академическом уровне наше понимание советской истории, включая перипетии российской политики, очень хорошее. Гораздо меньше я уверена в наших политиках. При всем уважении к исключениям американская внешняя политика слишком часто формируется под давлением ограниченных и порой несвязанных политических интересов, в том числе изоляционистские настроения и склонность Конгресса вмешиваться даже в мелкие детали, например санкции. Возможно, это наивно, но я бы хотела, чтобы мы действовали, а не просто заявляли, что действуем, в соответствии с национальными интересами, включая моральные и правозащитные аргументы.

Другой вопрос, который я часто слышу: что Путин и его команда думают о президенте Трампе? Уже в 2015 году Ушаков говорил о Трампе положительно, потому что видел в нем «нарушителя привычного порядка». Похоже, они уже начинают сомневаться. Дело не только в том, что Трамп столь часто меняет мнение о том, кто агрессор — Россия или Украина. Проблема в том, что они не могут быть уверены, что Трамп сделает или скажет на следующий день. (Многие в Америке тоже этого не знают.) Он и не враг, с которым нужно бороться, и не друг, которому можно доверять.

Так что какое бы теплое отношение к США или тонкое понимание американских нюансов ни было у Ушакова ранее, все это давно исчезло. По ключевому украинскому вопросу Ушаков вряд ли будет указывать Путину, что делать и как действовать. Как и его босс, так и вся коман-

*Если и есть какие-либо
разногласия в команде
Путина, то только в том,
как вести себя с Трампом*

да Ушакова видят сильную, независимую Украину как угрозу для России и ни при каких обстоятельствах не согласятся с размещением войск НАТО на украинской территории. Проще говоря, по их мнению, Украина «принадлежит» России. У

нее нет права существовать как независимое государство — и об этом прямо говорится в новых учебниках для всех российских школьников, на российских пропагандистских телеканалах и в справочных материалах, которые, несомненно, подготовили к саммиту на Аляске. В этом вопросе российская политическая элита едина. По их мнению, российские солдаты захватили Крым, а затем погибли, защищая значительную часть Восточной Украины, и возвращение этих территорий не подлежит обсуждению.

Так что если и есть какие-либо разногласия в команде Путина, то только в том, как вести себя с Трампом и удастся ли достичь целей через лесть, игнорирование или угрозы. Насколько бы информированными ни были путинские «американские гуру» вроде Ушакова, они не могут быть уверены, какая версия Трампа появится перед ними в каждый следующий момент: тот, кто называет Путина другом и гением, или тот, кто согласился, что Путин — «убийца». Смогут ли они убедить Трампа, что проблема в «неразумной» Украине, а не в нежелании России прекратить бомбардировки украинских городов и согласиться на прекращение огня?

Путин может одобрять многое из того, что делает Трамп для улучшения отношений США и России и подавления демократии в Америке и во всем мире; в конце концов, политика Трампа, судя по всему, усиливает влияние России в мире, отталкивая традиционных союзников Америки и вводя непредсказуемые торговые и тарифные меры. Так что Трамп — это лучшее, что есть у России на данный момент, и, безусловно, лучше, чем любой президент от Демократической партии.

Тем не менее некоторые из более проницательных советников Путина и российских экспертов, похоже, все больше обращают внимание на вице-президента Вэнса — настоящего изоляциониста — как на человека будущего. Россияне всегда играют вдолгую. Даже если Трамп решит оставить США в НАТО, они, вероятно, задаются вопросом: а не будет ли готов будущий президент Вэнс положить конец этому альянсу? Пусть это и не будет для него приоритетом, Путин вполне способен поставить президента США в неловкое положение, если Трамп окажется недостаточно сговорчивым, и дожидаться более покладистого преемника.

Тактика может быть разной, но конечная цель Путина и его команды — добиться результата, который продвинет их основные интересы: резкое сокращение западного влияния в Украине, раскол западного альянса и в конечном счете реализация того, что Путин видит как восстановление Российской империи. И эта последняя цель, как точно подмечал покойный Збигнев Бжезинский, не может быть достигнута, если Украина сохраняет независимое существование.

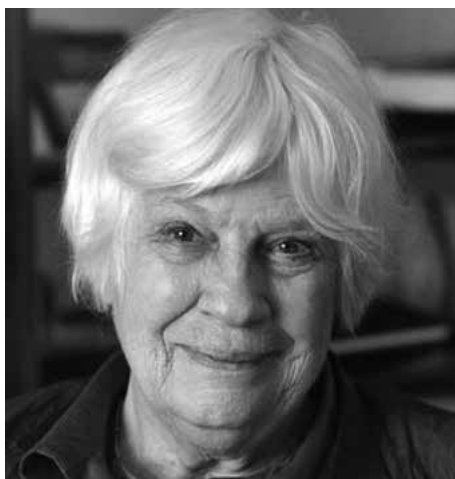
Путин окружен экспертами вроде Ушакова, которые знают, чего хочет их начальник, и долгие годы работают вместе как команда. Они также прекрасно знают США. Российская дипломатическая команда имеет почти столетний опыт работы с американской стороной.

Трамп и его команда лишены сопоставимой экспертизы — никто из них не жил в России и тем более не проводил десятилетия, налаживая контакты внутри российского правительства. Американская команда неопытна и в Украине сосредоточена в основном на частных интересах, а не на стратегических задачах, словно урегулирование конфликта зависит от обмена участками земли, а не от преодоления застарелых идеологий и враждебности, которые и привели к вторжению.

Но, к сожалению, действительно важным остается почти непреодолимый разрыв между законным стремлением Украины к независимости и безопасности и решимостью России добиться на переговорах того, чего она не смогла достичь на поле боя.

Р. С. В последние недели стало ясно, что саммит на Аляске не добился прогресса ни по одному из ключевых вопросов, включая прекращение огня, начало переговоров о мирном соглашении или возможные гарантии безопасности для Украины. На данный момент ситуация развивается в неверном направлении. Это плохо для Украины, для Европы, для Соединенных Штатов, а в долгосрочной перспективе — и для самой России.

Конечная цель Путина и его команды — резкое сокращение западного влияния в Украине, раскол западного альянса



Ютта Шеррер
(1938–2025)

Друзей и подруг, как и место рождения, не выбирают. С ними встречаются и хранят дружбу как самый дорогой подарок.

Ютта Шеррер, будущий немецко-французский историк, родилась 1 декабря 1938 года в городе Галле, который является одним из самых больших по численности населения городов земли Саксония-Анхальт на востоке Германии. Она выросла в районе Восточного Берлина, а в 1958 году переехала в Западный Берлин, где изучала историю Восточной Европы, славистику и социологию в Свободном университете Берлина, а затем в Кембридже (США) и Париже. Тогда она уже не считала себя и не была гражданкой Германии, пережив глубокое чувство вины за преступления, совершенные нацистской Германией во время Второй мировой войны.

В 1971 году Ютта получила докторскую степень в Свободном университете Берлина, защитив диссертацию на тему «Петербургские религиозно-философские объединения: развитие религиозного самосознания их членов-интеллигентов (1901–1917)». С 1973 года работала в Национальном центре научных исследований (CNRS) в Париже, а с 1980-го преподавала общественные науки в Высшей школе социальных наук (École des hautes études en sciences sociales). Мы познакомились с ней в 1985-м, когда она приехала в Москву и после создания Школы стала ее постоянным экспертом.

Нас всегда поражала особая чувствительность Ютты и интерес к тому, что называют обычно человеческим в человеке и что определялось ее переживанием вины за Германию перед историей. Оно было связано с осознанием исторической ответственности немецкого народа за такие преступления нацизма, как Холокост, и с ее стремлением к предотвращению повторения зла и сохранению памяти о жертвах.

Ютта умерла 26 августа 2025 года в Париже.

*Лена Немировская,
Юрий Сенокосов*

Юtte

Все еще невозможно представить, что не будет больше телефонных звонков и ты не будешь внимательно вслушиваться в рассказы о тревожнениях в нашей семейной жизни, о достижениях наших внуков. Невозможно поверить, что не будет бесед о состоянии мира, слов (изредка) о русской надежде и (беспрестанно) об украинской боли. Не услышать больше, как ты в мельчайших подробностях сравниваешь Германию и Францию или ликуешь, что тебе удалось воспроизвести свой «суп стариков» (*soupe de vieillards*) из пасты, бульона, лимона и взбитого яйца. Ты называла его «супом бедняков» (*soupe des pauvres*) и всегда хвалила, приготовив на скорую руку в перерыве между двумя подстрочными примечаниями. Не будет парижских обедов: ты весело ждешь семи вечера, когда «дозволено» будет заказать порцию виски. Не будет прогулок в Нормандии и трапез с мидиями на морском берегу. Наконец, не будет минут глубокого молчания, которые так нас роднили: мы слушали музыку, например, современную вещь, которой ты хотела нас удивить, или запись недавно открытого русского исполнителя. А затем, конечно, мы возвращались к Баху, якорю наших душ.

А было еще Прошлое, не то прошлое, которое объединяет нас как историков, хотя мы с неподдельным интересом читали друг друга. Нет, то Прошлое, то тягчайшее бремя, что нависало над твоим рождением как немки спустя три недели после Хрустальной ночи, гибель отца на Восточном фронте — все то, чем ты делилась с нами в необыкновенных, пронзительных фразах, быть может, испытывая облегчение от того, что можешь поделиться болью с Домиником, чей отец прошел через Освенцим. Прошлое, что укрепило наши родственные узы, ведь мы искали и находили утешение в глазах другого, мы пытались утешить тебя и облегчить твоё чувство невозможной, заместительной вины. Милая Ютта, мы с тобой как историки всегда верили в важность поколений, творящих историю, так что позволь мне завершить небольшим стихотворением, которое я написала несколько лет назад, думая о тебе (и о нескольких пожилых друзьях-немцах). Так я попыталась выразить чувство глубочайшего уважения и любви, которое связывало нас почти полвека.



*Диана Пинто,
историк, писательница
(Париж), эксперт Школы*

Перевод с английского Марка Дадяна

The Poor Women

Women always. Their
fragile nerves, constant
self-blaming, raw pain.
No sexist caricature,
just a faithful portrait
of my older sensitive
German friends, who,
like Sisyphus carry
vicarious stone guilt
in the folds of their soul.
I, on the other side,
pitying their plight,
they in self-inflicted
hell. Lonely women
surrounded by men
who rarely looked back,
never letting that past
interfere with their lives,
ambitions, destiny. They
instead, shaken to the core,
their beings caught in
impossible expiation,

finding redemption where
possible: love for Holocaust
survivors; hatred for fathers
who 'knew'; immersion or
conversion into the nearly
destroyed tribe. Not in vain,
but within the confines of
their generation. To my
elderly anguished friends:
I have seen the pain in
your eyes, heard your
lowered voices in the fear
of not being up to task.
What ambivalent welcome
did you receive among
hardened Jews? What
indifference did you elicit
in Realpolitik's corridors
of political chatter? You
accepted all as deserved
punishment, you, innocents,
you, sacrificed vestals of
impossible atonement.

(November 15, 2023)

Dearest Jutta, rest in peace.

Diana

TABLE OF CONTENTS

No. 4 (99) 2025

TO THE READER

Late Anthropocene: Politics, Fear and Hope	
<i>Alexander Etkind</i>	5

FEATURE ARTICLE

Artificial Intelligence and Ethics	
<i>Anna Kuleshova, Oleg Greshnev</i>	8
AI and the Intellect	
<i>Pål Grønås Drange</i>	30
On the End of an Era, the Regime, the World as We Knew It	
<i>Gasán Guseinov</i>	45

A SEARCH FOR COMPREHENSION

Old Money and New Ethics	
<i>Kirill Kobrin</i>	60
A Time to Re-assess Established Dogmas	
<i>Vladislav Inozemtsev</i>	69
“The future is open not only in a negative sense, but in a positive one as well”	
<i>Thomas Bagger</i>	75
Lessons from a Failed Transition	
<i>Yuri Senokosov</i>	81

IN THE CONTEXT OF TIME

Uniquely European. Why Philosopher Merab Mamardashvili Chose to Stay in the USSR	
<i>Andrey Kolesnikov</i>	88
Politics Is an Art of Saving Lives	
<i>Svetlana Shmeleva</i>	93
Conscience as a Means of Resistance	
<i>Anna Kuleshova</i>	99
The Limits of Guilt	
<i>Zelimkhan Yakhikhanov</i>	104

PHILOSOPHY

Education and Our Times	
<i>Anatoly Mikhaylov</i>	108

BOOKS

The Asian Europe	
<i>Andrey S. Simbirtsev</i>	133
The Counterpoint	
<i>Maxim Goryunov</i>	137

NOTA BENE

Aide to the President of the Russian Federation	
<i>Toby T. Gati</i>	146

IN MEMORIAM

Jutta Scherrer	152
----------------------	-----

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Главная тема:

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И ПРОПАГАНДА

Наши авторы:

Викторас Бахметьевас

Валдис Биркавс

Андреас Буммель

Максим Горюнов

Олег Грешнёв

Гасан Гусейнов

Василий Жарков

Владислав Иноземцев

Кирилл Кобрин

Иван Крастев

Анна Кулешова

Михаэль Мертес

Анатолий Михайлов

Сергей Петров

Славомир Сераковский

ISSN 2592-897X

Просвещение – это выход человека из состояния
своего несовершеннолетия... причина которого
заключается не в недостатке рассудка,
а в недостатке решимости и мужества
пользоваться им без руководства кого-то другого.
Sapere aude! – имей мужество пользоваться
собственным умом! – таков, следовательно,
девиз Просвещения.

Иммануил Кант
“Ответ на вопрос: Что такое Просвещение?”